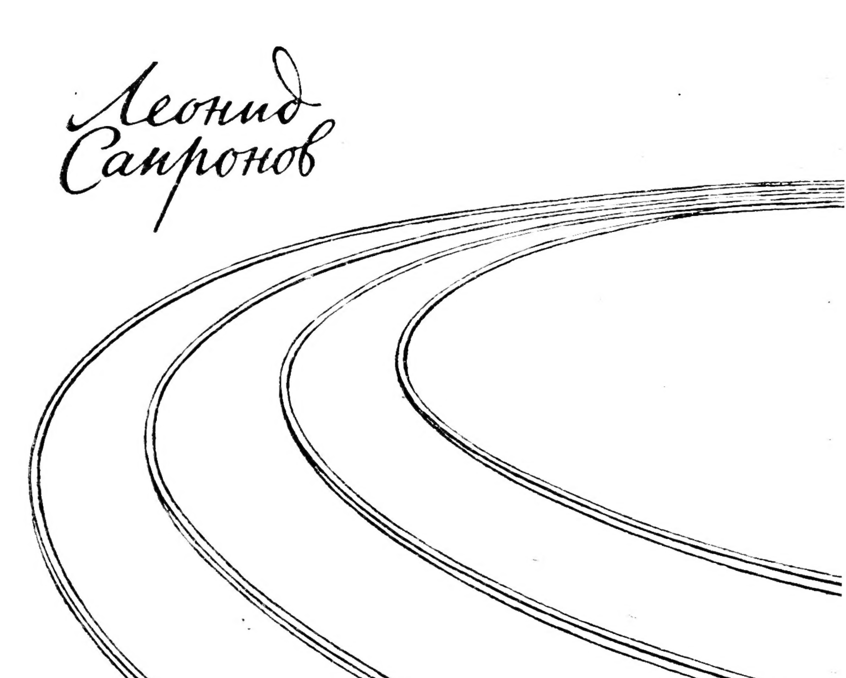
Леонид Сапронов

ПОПУТЧИКИ



ПОПУТЧИКИ

рассказы

ПРИОКСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТУЛА — 1966

Попутчики

Это было какое-то наваждение: много часов подряд за окном поезда нескончаемой пестрой рекой колыхался цветущий луг, такой буйный, радужно-полыхающий, что сердце невольно замирало от восторга. Изредка белой молнией мигнет за стеклом тонкий ствол одинокой березки, и опять мчатся и мчатся мимо белопенные гроздья кашки, дымчатые разливы незабудок, ромашки и множество других нежно-фиолетовых, розовых и голубых цветов — да как же они все называются? И отчего она, разиня, в свои тридцать два года не имеет о них никакого понятия?

Веру Дмитриевну неудержимо тянуло выскочить из вагона, спрыгнуть под откос и, позабыв о степенном возрасте, раскинув руки, босиком бежать по живому ковру, бежать пока хватит дыхания. Казалось странным, удивительным, что луг зацвел именно здесь, в глуши, сам по себе, и стало жаль, что его необыкновенная красота пропадает впустую, зря, без пользы для людей.

— Шикарно, правда? — спросили у нее над ухом.

Вихрастый парень в гимнастерке без погон, аккуратно заправленной под ремень, настойчиво заглядывал ей в лицо, будто пытался подчинить женщину своей воле.

— Вы любите цветы? — допытывался он.

Вера Дмитриевна не ответила.

Ничуть не обескураженный, парень с тем же настойчивым простодушием пожирал ее взглядом,— до чего он был прямолинеен, до чего наивен в своем стремлении завязать знакомство, поухаживать за дамой! С минуту помолчав, он прозрачно намекнул:

— Вот бы туда вдвоем, на пару...

Задорно тряхнув вихорком, он снова уставился на нее, словно вынуждал Веру Дмитриевну ответить.

Она усмехнулась и спросила:

— А вы всегда такой напористый с женщинами?

Он часто замигал, его лицо густо залила краска.

— Пожалуй, я вам компании не составлю,— уже мягче добавила она.

— Простите,— вежливо сказал он и, как бы оправдываясь, заметил: — Оно ведь скучно в дороге...

Он опустился на полку, взялся за газету, но потом отложил ее и вышел в коридор. Вскоре оттуда донеслась его бойкая речь — видимо, он заговорил с проводницей.

«Забавный солдатик»,— подумала Вера Дмитриевна, окидывая взором опустевшее купе. При виде своих бесчисленных узлов, свертков и пакетов на душе у нее потеплело.

Что и говорить, многовато у нее покупок. Нелегкую работу задали ей сослуживцы. Но и она не оплошала, выполнила заказы, ублажила каждого. Да и сама в накладе не осталась: раздобыла модные сапожки на меху, шерстяной костюм Игоречку и целую сотню дефицитных крышечек — на осень, консервировать овощи. Носилась по Москве как угорелая, к вечеру ног не чуяла, полумертвой падала на койку. И, конечно, опять не попала в Большой театр. По-настоящему освободилась от нагрузок лишь теперь, в дороге и — как гора с плеч. Отлежаться бы сейчас, отоспаться, да разве в поезде отдохнешь? Зато завтра... Завтра она вернется домой, к семье, в уютную, неплохо обставленную квартирку, дорвется до своей широкой полированной кровати и пронежится в мягкой постели и ночь, и следующий день до самого обеда...

Прикрыв ладонью рот, Вера Дмитриевна сладко зевнула и опять уставилась в окно.

Наваждение кончилось: вместо веселой пестроты красок мимо тянулись жирные черные пары, у самого дорожного полотна мелькали рваные лоскуты огородов. Замедляя ход, поезд спускался все ниже и медленно погружался в тусклую болотистую равнину. Над извилистыми рукавами и протоками расстилался туман. Мучнисто-серая пелена поднималась, густела, обволакивая

берега, камни, кусты, низкорослый камыш. Вот и соседние рельсы скрылись из глаз, мохнатый туман прихлынул к вагону, как щепку оторвал поезд от земли и понес куда-то.

«Как сказочно,— подивилась было своему ощущению Вера Дмитриевна.— Будто мчишься по облакам. Полное впечатление полета». И тотчас насмешливо осадила себя: «А ты, дорогуша, становишься сентиментальной». Но сама, наслаждаясь праздностью, еще долго льнула к окну, завороженная белесой хвостатой мглой, чувствуя, как размягчает и успокаивает ее плавная вагонная качка.

Ее попутчик не возвращался. На первой же станции Вера Дмитриевна увидела его на перроне. Он стоял возле вагона, ладный, подтянутый, грудь колесом и о чем-то весело болтал с молоденькой смешливой проводницей.

И снова шел поезд, глухо бубнили колеса, мерно пошатывало купе, будто материнские руки качали зыбку, и опять станция, большая, шумная, забитая поездами. Между составами сновали взад-вперед люди, растерянно рыскали взглядами по вагонам. Курносая проводница в темной форменной одежде, напустив на лицо строгость, проверяла у новых пассажиров билеты. Рядом стоял вихрастый с зажженным путейским фонарем в руке и услужливо направлял свет на девичьи пальцы.

«Ну вот. Наконец-то определился»,— чуть насмешливо подумала женщина.

Медленно темнело, небо делалось гуще и словно оседало на землю, на станции загорелись огни. Поезд тронулся и, набирая скорость, вкатился на мост.

Когда миновали реку, в купе заглянул рослый светловолосый парень в белой рубашке с засученными до локтей рукавами. Вещей у него не было: только потертая кожаная папка на «молнии» и ни чемодана, ни авоськи, ни пиджака.

— Принимайте попутчика,— дружелюбно сказал он и усмехнулся.

Вера Дмитриевна поглядела на дверь, ожидая увидеть носильщика с багажом.

— А я до конца,— сообщил новенький и снова заулыбался.

«И налегке?! Это же не трамвай!» — чуть не вырвалось у женщины.

— Я прямо с занятий. На самолете не вышло, ну и... Боялся, что и тут опоздаю,— негромко рассказывал он, явно потешаясь над своими опасениями и не переставая улыбаться своей неудержимой улыбкой,— казалось, что она вспыхивала на лице помимо его желания.

— Ну, не буду мешать,—заторопился он, оставил папку и вышел.

«Вежливый,— отметила про себя Вера Дмитриевна.— И улыбается невпопад. Должно быть, знает, что смазлив».

Новый пассажир пристроился у окна и словно прилип к нему. Уже разнесли чай, уже собрали порожние стаканы, позже выключили радио, а он все стоял в коридоре, возле купе, глядя в черное окно, за которым — она была уверена — наверняка ничего не увидишь.

«И этот с чудинкой,— думала женщина, укладываясь на полку.— Уж очень несерьезный народ пошел. Ни трезвости у молодых, ни благоразумия. Беззаботны, как птицы. Ну ничего: поживут — поумнеют, остепенятся...»

Среди ночи она просыпалась, ворочалась на жестком матраце, приоткрывала глаза и, полусонная, замечала одинокую фигуру в белой рубашке — парень до сих пор торчал в коридоре.

А утром женщина не обнаружила его. На полке напротив, положив под щеку ладонь, выводил носом затейливые рулады солдат, на столике лежала кожаная папка на «молнии», а ее хозяина не было видно.

Поезд стоял. За окном чуть слышно гудели провода, где-то далеко, за горизонтом глухо урчал трактор. День занимался тягучий, серый и сонный, и на сердце становилось отчего-то пусто и холодно. Вере Дмитриевне захотелось поскорей доехать, ступить на твердую землю, увидеть мужа и сослуживцев, по которым, к ее изумлению, она успела соскучиться.

Вихрем налетел, замигал светлыми проемами и внезапно оборвался встречный поезд, под вагоном заскулили, медленно и неохотно заворочались колеса. Так и не дождавшись студента, женщина пожала плечами, вскинула на руку полотенце и отправилась наводить туалет.

Возвращалась она бодрая, помолодевшая, со свежей

прической и тем приятным ощущением, когда кажется, будто студеная влага просочилась сквозь поры, а острая свежесть прохладной волной заструилась под кожей.

Под пьяную болтанку вагона Вера Дмитриевна благополучно одолела коридор, взялась за ручку двери и тут увидела студента. Он шел ей навстречу с охапкой каких-то стеблей, веток и листьев, прижатых локтем к боку, и улыбался.

— Чуть не отстал,— сказал он.— В последний вагон вскочил.

Он вошел в купе вслед за ней и с чисто мужской неуклюжестью выдернул из-под локтя охапку еще влажных от росы полевых цветов.

— Как вы думаете, не завянут в дороге? — негромко спросил он.

— Не должны бы,— так же тихо, невольно поглядывая на спящего, ответила она.— Скоро будем дома.

— А я не домой,— сказал он и опять улыбнулся.

Женщина с любопытством взглянула на парня. Она искала и сегодня уже не находила в его облике тех смазливо-сусальных черточек, которые бросались в глаза накануне. Грубоватое, с обветренными щеками лицо, выцветшие брови, выбеленный солнцем взъерошенный чуб; в глазах плохо скрытая радость, взволнованная отрешенность человека не от мира сего...

— Как долго тащимся,— сказал он, бережно укладывая на столик охапку цветов.

Он присел на полку у ног спящего и примолк. Громче застучали под вагоном колеса, за дверью зашумели, задвигались, затопали ногами пассажиры.

Демобилизованный солдат открыл глаза, щурясь, бегло осмотрел своих соседей.

— А, попутчики,— довольно протянул он, пружинисто соскочил с полки и принялся натягивать сапоги. Послюнив ладонь, он торопливо пригладил вихор, выглянул из купе, повертел шеей и громко крикнул:

— Доброе утро, Валюша!

На ходу он затянул ремень, простучал сапогами по коридору и у самого тамбура затих.

— Петушок,— с незлобливой усмешкой заметил студент.

Женщина улыбнулась. И оттого, что их оценки совпали, она почувствовала к парню симпатию.

— Ох, что же я сижу? — заторопился он и подхватился с места.— Вы, верно, еще не завтракали. Располагайтесь. Не буду вас стеснять,— и вышел.

Вера Дмитриевна не успела ему возразить. Завтракая, она нет-нет да и поглядывала на студента. Его рубашка белела у двери, возле открытого окна. Вот он даже высунул голову наружу и энергично замахал кому-то рукой. От любопытства женщина перестала жевать, привстала с полки и успела заметить у порога путейской сторожки двух босоногих девчушек-дошкольниц в одинаковых пестрых сарафанах,— девочки тянули кверху ладошки. И сразу женщине вспомнился Игорек, очки мужа, его солидный, размеренный голос.

Вера Дмитриевна вздохнула и надолго уткнулась в книгу.

Перед обедом в коридоре засуетились.

— Подъезжаем! — торжественно объявил хрипловатый басок за перегородкой.

Женщина захлопнула книгу и стала собираться.

Навстречу, замедляя бег, потянулись знакомые пристанционные постройки, склады, торговые киоски. В купе на секунду заскочил вихрастый, взвалил на плечо туго набитый брезентовый рюкзак и поспешил к выходу. Студент помог женщине вынести в тамбур коробки и свертки.

— Извините, но мне пора,— на прощанье сказал он и улыбнулся. Он опередил проводницу и на ходу, не дожидаясь остановки, спрыгнул на перрон.

На дворе моросил мелкий, почти невидимый дождь. Вера Дмитриевна стояла возле своего багажа, уложенного на платформе горкой. и озиралась, разыскивая мужа.

— Вот ты где? А я ищу, ищу... Здравствуй, Вера,— внезапно услышала она его ровный, спокойный голос.

Придерживая очки, он ткнулся мокрым небритым подбородком в ее щеку и чмокнул — поцелуй пришелся в левый краешек губ.

— Приехала?

— Как видишь,— ответила она, поеживаясь от легчайшей водяной пыльцы.— Плащ мой захватил?

— Знаешь, просто не сообразил. Совсем память отшибло. А тут еще эта петрушка с утра, сеет и сеет. Но

машина будет. Должен подъехать шофер Ивана Сергеевича... А у Игоря зубки режутся. Плачет, бедняга.

Муж был в неизменном сером костюме с поднятым воротником, с обязательным галстуком на шее. И торчащий воротник, и засученные, чтобы не забрызгать, брюки, и мокрые покрасневшие кисти рук делали его похожим на озябшего, бездомного беспризорника, нацепившего ради форса очки и галстук.

— Идем под навес.

— И правда,— согласился он.

Они перенесли вещи на привокзальную накрытую тентом площадку. Кроме них тут хоронились от дождя, поджидая автобус, еще несколько человек, а чуть в стороне, поближе к фонарному столбу, Вера Дмитриевна сразу заметила одного из своих попутчиков. Студент стоял к ней спиной, широко расставив ноги, с папкой в опущенной руке, и все горбился, все нагибался пониже, ближе к девушке, будто собираясь ей поклониться. Их лица придвинулись почти вплотную, и чудилось, что эти двое вот-вот поцелуются. Девушка была длинноногая, с узеньким, даже худым телом и высокой прической, накрытой прозрачной непромокаемой косынкой. На ее темном свитере отчетливо выделялись крупные белые бусы — точно лыжные следы они стремительно спускались с кручи и повисали над обрывом.

— Приехал-таки! Сумасшедший! Всего на один день — и примчался. Это же просто безумие! — говорила она, нюхая цветы, счастливо посмеиваясь, а на ресницах у нее вздрагивали не то слезы не то дождинки.

— Не мог иначе. Думал, не выдержу.

— Бедный, бедный...

Вера Дмитриевна поспешно отвернулась. Муж протирал очки, облизывая влажные губы, рассказывал:

— Знаешь, у нас сменилось начальство. Теперь в тресте новый главный инженер. Будто бы из Ленинграда. По-видимому, толковый.

— Толковый, говоришь? — рассеянно спросила она, невольно прислушиваясь к разговору тех, двоих. Женщина сознавала, что поступает нехорошо, напрягая внимание, старалась следить за новостями мужа, но чужая беседа назойливо лезла в уши.

— А ты совсем белый стал,— изумлялась девчонка.— Совсем седой и мохнатый, как морж. И подумать

только: мне больше нравились чернявые, а ты у меня блондин... Ой, что ты, на нас смотрят...

— Пусть смотрят...

— Сумасшедший... Ты всегда будешь таким?

— Всегда! Всю жизнь. Две жизни, если надо...

— А под глазом морщинка. Хочешь, разглажу? Ох, да увидят же!

— Пусть видят, пусть. Малышка...

Вера Дмитриевна туже затянула косынку, надвинула ее на уши, прикрыла глаза, но — удивительное дело! — перекличка молодых сердец все громче доносилась до ее слуха.

— Покажи руки. Какие красивые...

— Совсем спятил,— смеялась она.— Ладони пошерхли, ногти обкусаны. Не помню, когда и маникюр делала. Медикам не рекомендуют красить...

— И волосы пахнут...

— У всех пахнут... Целый месяц не видела, ты подумай, целый месяц!

— Скоро мы всегда будем вместе, на всю жизнь. Вот закончу и...

— ...буду в белом, как в облаке, как в тумане. Огни, музыка и белое платье. Смешно представить: я и свадьба. Должно быть, не выдержу. Разволнуюсь и... отнимется язык. Или грохнусь в обморок. Может, свадьбы и не нужно?

— Конечно, не нужно. Ничего не нужно, только мы двое, я и ты. И белое платье...

— И цветы...

— Да, и цветы...

— Что с тобой? — удивленно повторил муж.

— А? Нет, ничего,— встрепенулась женщина.— Как твоя печень?

— Странная ты сегодня,— заметил муж, поправил очки и продолжал: — С печенью никаких сдвигов. Надо лечить... Недавно встретил Сеньку, ну, знаешь, с энергетического. Растолстел, обрюзг. Трудно представить: Семен и брюшко. Умора!

Женщина слушала его и хмурилась. Под напором чужих, таких горячих, таких искренних слов она лихорадочно рылась в памяти, вспоминая свою молодость, ухаживания Виктора, его пылкие, пламенные признания, былое рыцарство, знаки поклонения — а когда-то их бы-

ло немало! — и в спешке не могла вспомнить ни одного. Это настолько поразило, больно задело Веру Дмитриевну, что ей внезапно захотелось расплакаться.

Муж помолчал и добавил, весело поглядывая на жену:

— Наконец-то начну питаться по-человечески. Так надоели консервы...

— Только-то, Виктор? — невольно вырвалось у женщины.

— Ну, не только,— рассудительным тоном возразил он.— Ты ведь знаешь: я без тебя как без рук.

На скользком, потемневшем от воды асфальте показался солдат с рюкзаком за плечами. Он шел с проводницей, на ходу что-то нашептывал ей на ухо. Она часто кивала головой и поминутно оглядывалась — теперь, в обычном платье она выглядела стройней и моложе. А та пара вышла из-под навеса под дождь — там, в стороне от людей, им было удобней. Но и оттуда доносились горячие, быстрые как молнии, всплески:

— Промокнешь и простудишься, мышонок. Сыро, ветрено.

— Мне жарко, глупый. Люди...

— Их нет, мы одни. Только дождь и мы.

— Как долго нет машины,— озабоченно проговорил муж, поглядывая на часы.

— Послушай, пойдем пешком,— предложила Вера Дмитриевна.

— Но... зачем же?

— Да, понимаю,— с горечью заговорила женщина.— Зачем идти пешком, если есть транспорт. Бедный Гридасов, как я тебя понимаю!

— Что с тобой? — испугался муж. Он знал: если жена обращается к нему официально и называет по фамилии — значит, дело серьезно.

— Милый Виктор, у тебя не бывает желания напиться? Чтобы вдрызг, а? Незачем, правда? Ох, какие мы с тобой трезвые стали, Гридасов, какие трезвые, благоразумные и... занудистые. Старательные, как лошади в упряжке, и занудистые...

Сбросив очки, близоруко щурясь, он лихорадочно ловил взглядом ее лицо,— ему так нужно, так важно было увидеть лицо жены именно сейчас! — и никак не мог поймать его в фокус, разглядеть получше, оно двоилось и смазывалось.

А те двое беспечно шлепали по мокрому асфальту. Их фигуры постепенно таяли и тускнели за пеленой дождя, и только в волосах у парня еще светились стеклянные искорки.

Голубая «Волга»

Таких машин в поселке не было. Местные «Волги» Федя знал наперечет: серая у Вербицких, шоколадная у директора школы, остальные «Москвичи».

Иногда возле райсовета останавливались запыленные машины из области, но держались они особняком, стояли на виду у самого крыльца, за рулем обычно скучали неразговорчивые шоферы в надвинутых до бровей фуражках и лениво осматривали прохожих.

А эта, блестящая, небесно-голубая «Волга» беспечно стояла в стороне, у обелиска, и в зеркале ее капота шевелилась, не исчезая, тополиная листва.

Если зайти со стороны обелиска и спрятаться за машиной, из окна райсовета никто не увидит. Можно засунуть руку в окно и попробовать, легко ли передвигается вон тот рычаг под баранкой. Всего три шага и...

Шагнув к машине, мальчик сразу же остановился. Только теперь он заметил собаку на заднем сиденье, настоящую немецкую овчарку с крупной, горделиво посаженной головой и торчащими ушами.

Грозная голова собаки повернулась к окну, взгляд ее карих, с кровавыми прожилками глаз лениво скользнул по Фединому лицу и погас. Должно быть, ей было скучно.

Пока Федя раздумывал, чем заинтересовать собаку, на крыльце райсовета показались люди. Первым вышел рослый мужчина без фуражки, за ним молодая женщина в пестром свитере и, наконец, сам Яков Петрович, председатель. Мальчик еще никогда не видел его таким. Обычно он ходил медленно, важно, говорил отрывисто. Взрослые, завидев его, приостанавливались посреди

улицы и снимали шапки, мальчишки обходили его другой дорогой. А сейчас он суетился, часто разводил руками, прикладывал платок ко лбу и говорил не грозным, а вкрадчивым голосом:

— Не поймите меня превратно...

— Мы вас поняли, товарищ Суровцев,— сердито перебил его мужчина без фуражки. На груди под рубашкой у него отчетливо проступили бугорки мускулов.— Человек вы занятой, нам помогать не обязаны.

— Но позвольте, я этого не говорил. По силе возможности... Вот разберемся, придем к согласию. Я провожу вас, покажу трассу...

— Нет уж, как встретили, так и провожайте! — отрезал мужчина и, увидев Федю, позвал: — Эй, парень! Как тебя величают? Иди-ка сюда. Да иди, не бойся.

Мальчик хотел ответить, что никакой он не парень, что опаздывает на киносеанс и просто шел мимо. Но к нему уже подходили, и Федя независимо сунул руки в карманы.

— Будем знакомы,— мужчина пожал ему, как взрослому руку, представился: — Изыскатели. Инженер Котов. А это Ольга Степановна, геодезист. Лажневскую заводь знаешь?

— Знаю.

— Поедешь с нами?

Мальчик подумал, помолчал и неторопливо кивнул головой.

Федя забрался в машину, бочком продвинулся по сиденью, искоса наблюдая за собакой. Неприятно все же чувствовать позади себя эту страшную, волчью морду. Что, если... Он резко обернулся, надеясь застать собаку врасплох, но увидел сонно прищуренные глаза овчарки и успокоился.

Хорошо бы завести такую собаку дома, да разве мать уговоришь... Интересно, кто поведет машину? Неужели инженер? Ух ты!

Мужчина захлопнул дверцу за Ольгой Степановной и сел рядом с Федей. Машина плавно тронулась с места, начала быстро набирать скорость, а позади, возле исполкома, все еще стоял, утирая лоб, Яков Петрович.

— Шумный вы человек, Анатолий Борисович,— негромко начала женщина.— Не успели приехать — и в драку.

— Но ведь я прав! — горячо отозвался мужчина.— Ну, скажите, прав я? — и он обернулся к ней.

— Должно быть, правы. Но нужно как-то мягче, сердечней к людям...

— Да за что же сердечней, Ольга Степановна? Вы разве не раскусили его? Транспорт не обещает, на жилье не рассчитывайте... А приедут рабочие — к нему и вовсе не подступишься. «Мой район, мое мнение»...

— Неуживчивый вы, колючий какой-то,— продолжала она.— Потому и не любят вас... многие.

Инженер задумался, помрачнел. Лицо у него обветренное, губы потрескались, жесткая кожа задубела на солнце.

— Вот вы говорите «не любят»,— уже спокойнее начал он.— Верно, иногда я не уживаюсь с людьми. Но с какими? Разве со всеми? Бывает, разругаюсь, уеду... Я, конечно, знаю, что одни этому только рады, но ведь другие-то сожалеют! Выходит, не безразличен людям. Уже и это хорошо, не правда ли?

Свободной рукой он приоткрыл боковое стекло и закончил:

— Вот поработаете с мое, поймете: с иным ужиться — значит сдаться, отступить.

Помолчали.

Остался позади кирпичный склад, сторож возле ворот, последний поселковый забор. Перед машиной расстилалась степь. Инженер посмотрел в зеркальце на Ольгу Степановну и вздохнул.

— Учишься? — обратился он к Феде.

— В седьмом,— на всякий случай добавил лишний класс мальчик.

— Добро. В Лежневке купался?

— Раньше. Теперь там мелко, нырять нельзя. Грязь, лягушки.

— Лягушки, говоришь? — переспросил мужчина и снова поглядел в зеркальце.

Здорово он все-таки вел машину! Такая скорость — и ни толчка, ни качки. На руках ни одна жилка не дрогнет, они точно прикипели к баранке. Легкие усилия пальцев — и машина поворачивает, плавно и послушно. Только ветер со свистом наваливается на стекло да стремительно ныряет под колеса мутно-серая полоса дороги.

Вот и узенькая, светлая Лежневка. Мужчина остановил машину, помог Ольге Степановне выйти. Теперь женщина показалась мальчику гораздо моложе, почти такой же, как его сестра, даже веснушки на скулах, как у сестры. Только волосы пышнее, точно горка спутанного хвороста — так и хочется их подпалить.

Следом за ней выпрыгнула и потянулась, прогибая спину, овчарка. Мельком она посмотрела на Федю, высунула язык и лениво повела хвостом. «Подлиза»,— беззлобно подумал Федя и огляделся.

А здесь неплохо. Воды в Лежневке совсем мало, пахнет она тиной и еще чем-то горьковатым. Берега глинистые, пологие, со ступенчатыми закраинами. Выше и дальше — трава, ромашки, высокие густые заросли полыни. А там, где берега сходятся, зелень сочная, буйная, она совсем глушит воду и тянется темной извилистой полосой далеко-далеко...

Мужчина снял туфли, подошел к воде, взял с берега горсть земли, размял ее между пальцами.

— А ты говоришь,— скальный грунт,— наставительно сказал он Феде, хотя тот до сих пор молчал.

— Канал, что ли? — спросил мальчик.

— Канал, брат. Самый настоящий.

Мужчина засучил брюки, боком, словно боясь, что его опрокинет волна, вошел в воду и долго одной ногой ощупывал дно.

— Вот отсюда и начинайте,— сказал он Ольге Степановне.— Завтра везите свою бригаду — и айда!

Женщина расстелила на траве карту, изыскатели склонились над ней. Говорили они о чем-то непонятном и неинтересном. Иногда, увлекаясь, мужчина начинал говорить быстрее, ближе придвигался к Ольге Степановне, касаясь щекой ее волос. Она тихонько отстранялась от него, и тогда голос инженера звучал глуше и размеренней.

— Вот, пожалуй, и все,— устало сказал он, разгибаясь.— Хороший вечер будет. Во дворце сегодня концерт. Начало, кажется, в семь? — мужчина вопросительно взглянул на спутницу.

Ольга Степановна не ответила. Сунув сложенную карту под мышку, она сорвала ромашку и энергично забросила ее в воду.

— Не люблю ромашек,— и, помолчав, добавила: — Искупаться бы...

— Ну, не будем мешать,— заторопился инженер и положил свою жесткую руку, темную от загара, на плечо мальчику.— Пойдем.

Они поднялись на пригорок и прилегли на горячей желтоватой земле.

Анатолий Борисович молчал и о чем-то думал. Овчарка подбежала к нему, обнюхала ноги и снова, высунув язык, помчалась к воде.

Жарко. Если так лежать, не шевелясь,— заболит голова.

Федя приподнялся на локтях и опять залюбовался «Волгой».

— Нравится? — спросил инженер.

Федя хотел кивнуть, но Анатолий Борисович махнул рукой:

— Э, что там хорошего! Машина остается машиной. Послушный механизм и только. Жарко, брат, во как жарко! — и он провел пальцем вокруг шеи.

— Ну, что же вы? — раздался над ними требовательный голос Ольги Степановны.— Идите купаться.

Федя поднялся, украдкой взглянул на нее. На юбке проступили темные, мокрые пятна, волосы, уже гладкие и прямые, блестят. Даже не верится, что недавно они были такими взлохмаченными.

У нее высоко поднята голова. Как у оленей на свитере. Задавака... Белки глаз очень большие, чистые. И серьги. Известно, женщина! Все они такие. И чего к ней привязалась собака? Прыгает, машет хвостом, засматривает в лицо...

Инженер вошел в воду первым. Федя еще долго стоял на берегу, поправляя трусы, и завистливо наблюдал за Анатолием Борисовичем.

Ух, как он плавал! Легкие, неторопливые взмахи рук, медленные движения, а тело, как торпеда, стремительно ввинчивается в воду. Кажется, что он на воде и вырос. Плавать бы ему не по этому болоту, а где-нибудь в большой реке или в море. А он в жару гоняет по степи, ссорится с начальством, ублажает какую-то конопатую девчонку...

Федя окунулся и поплыл вдоль берега. Плавать было неинтересно: ноги то и дело касались дна. Вскоре

он вышел на берег, оделся, подождал инженера и зашагал с ним к машине.

— Завтра меня уже здесь не будет... — очень тихо начал инженер и включил вторую скорость.

— Не надо, Анатолий Борисович! — ласково перебила женщина.

— Даже сегодня?

— Даже сегодня...

— «Что это с ними? Вроде как хоронят кого-то»,— подумал Федя, искоса взглянув на Анатолия Борисовича, и тут же стал мечтать о том, чтобы мальчишки увидели его в машине. Если б сидеть за рулем, как заправский шофер, деловито беседовать с инженером, если б остановиться напротив своего дома... Знакомые смотрят на Федю с уважением, и даже сам Яков Петрович восхищенно улыбается. Теперь-то он уж обязательно выпишет матери шифер для крыши...

Но улица пуста. Возле чайной краснощекая официантка поливает цветы. На воротах Фединого дома уютно устроился рыжий кот Максимка.

Анатолий Борисович опять посмотрел в зеркало на спутницу, каким-то вялым, глухим голосом сказал:

— Значит, все? Никакой надежды?

— Анатолий Борисович, милый, хороший, простите! — горячо заговорила Ольга Степановна.— Не могу я так сразу. Не знаю. Не хочу обнадеживать напрасно. Потерпите немного. И не сердитесь на меня...

Он помрачнел, глаза уставились на дорогу, погрустнели, как у матери, когда она рассказывает о смерти отца. Только «Волга» пошла быстрее да тоньше завыл мотор.

Не поймешь этих взрослых. Раньше их существование не вызывало у Феди особого интереса. Они жили чересчур серьезно, деловито и как-то обособленно, вели непонятные разговоры, ходили на работу и в кино, пели, слишком много читали, пили водку, женились, покупали одежду и надоедливо поучали детей. Очутиться на их месте не хотелось — долго не выдержишь. Разве только от обиды или из упрямства мальчик иногда утешал себя сквозь слезы: «Вот подрасту...» Только сегодня он как будто подошел к взрослым вплотную, заглянул в их жизнь поглубже, и она неожиданно оказалась куда сложнее и намного интересней, чем раньше. И ему

вдруг захотелось поскорее вырасти, заняться настоящим делом и все понять...

Улица поселка косым клином вонзается в степь. Вот уже последний забор. Машина замедляет ход и останавливается.

— Пора, пожалуй,— сказал Феде мужчина и протянул руку.— Ты тут не забывай наших, приходи.

Феде хотелось сказать, что он ничуть не жалеет о пропущенном киносеансе, что с удовольствием примет изыскателей на квартиру, если разрешит мать, и что инженеру лучше всего просто не обращать внимания на эту задаваку Ольгу. Но он только спросил:

— А овчарка зачем?

Мужчина улыбнулся.

— Просто моя слабость. Понимаешь? Каприз, самый настоящий.

Он наполовину высунулся из машины, наклонился к Феде и чуть слышно сказал, указывая на Ольгу Степановну:

— Ты, парень, не обижай ее без меня, ладно?

Мальчик с готовностью кивнул головой.

И ее не стало, этой машины, новенькой, голубой, как небо, как мечта, которая иногда приходила к Феде перед сном.

Мы и любовь

Утром так сладко спится, что хочется остановить время. Но я решительно откидываю одеяло, наскоро протираю глаза, нащупываю в темноте одежду, раздираю волосы расческой. Я еще шнурую ботинки, а за стеной уже громыхает лифт, поскрипывает плетеная корзина, и в комнату врывается звонкий девичий голос:

— Кому хлеба?

Величавый и торжественный гимн рождается в моих ушах, я выбегаю в коридор, впопыхах гулко хлопаю дверью и жадно отыскиваю взглядом знакомую фигурку.

— Хлеба кому? — снова прокатывается по коридору задорный голос.

— Мне, мне! — поспешно говорю я и мысленно заклинаю девушку не произносить больше ни слова, не будить шумную ораву парней из общежития и подарить мне хоть одну лишнюю минуту.

— Пожалуйста,— приветливо говорит она, засовывая кулачки в карманы просторного халата.— Какого вам?

— А... у вас булочки есть? — задаю я все тот же вопрос, выгадывая время.

— Есть, есть. Вы же знаете. Вот.

Она улыбается и откидывает полог с корзины.

Я долго роюсь в карманах, нащупываю мелочь и украдкой поглядываю на Лену. Ее лицо представляется мне ослепительным: тугие щеки налиты морозным румянцем, ровные зубы молочно-белы, а глаза с чуть при-

пухшими веками свежо блестят. В малиновой, с узорным рисунком, туго повязанной косынке, в ломком хрустящем халате и черных, начищенных до блеска ботинках она кажется мне самой желанной на свете.

Но тут подходят мои однокурсники. Заспанные и нечесанные, они заглядывают в корзину, вслух подсчитывают свои капиталы, переговариваются. Постепенно меня оттирают в сторону, темные спины заслоняют милое лицо.

— Спасибо вам! — говорю я девушке на прощание.

— Не за что,— рассчитываясь с моими товарищами, отвечает Лена, а я опять проклинаю свою нерешительность.

В комнате я заталкиваю булку в тумбочку, где лежит уже с десяток черствых,— ведь в столовую со своим хлебом не ходят.

Юрка, худой, лохматый, злой, выпутывается из-под одеяла, опускается на корточки, шарит рукой под кроватью, ищет свои носки.

— Мучители,— стонет он, подтягивая трусы.— Опять не дали поспать! А голос-то, голос! Таким голосом только ротой командовать. Орет как резаная: «Хлеба кому?!»

Я снисходительно улыбаюсь, взбираюсь на подоконник, прилипаю к стеклу и терпеливо жду, пока там, внизу на асфальте, покажется Лена.

На земле нежный и мягкий снег. Раньше я жил на юге и теперь никак не налюбуюсь снегом. Он лежит на клумбах, на скамьях, на шапках прохожих, на стволах и ветках деревьев. Ощупывая дорогу палкой, осторожно ступает по тротуару старичок в черном, мамаша ведет за руку похожего на тугой узел малыша, на повороте заносит к бровке автомашину... Эх, до чего ж хорошо! Нет, снег — это такая прелесть, без которой просто невозможно жить!

А вот и Лена. Она везет на тележке накрытую белым, словно тоже припушенную снегом корзину, изредка ее ноги скользят по дороге, и тогда она, удерживая равновесие, откидывает свободную руку в сторону. Сверху я уже не различаю ни ее лица, ни варежек, ни ботинок, но ясно представляю себе, как у ее рта тума-

нится морозный пар, как она весело поглядывает на прохожих и как, едва не упав, добродушно посмеивается над собственной неловкостью.

Тележка скрывается за углом, я неохотно отворачиваюсь, спрыгиваю на пол, лихо набрасываюсь на Юрку, и мы оба валимся на кровать.

— Эх, ты, соня! — ору я, стараясь завести его руки за спину.— Проснись! На лекции пора!

Ему долго не удается вырваться. Наконец, применив недозволенный прием, Юрка ускользает от меня и, прикрываясь подушкой, грозит:

— Отцепись, лунатик! Вот погоди, я тебе припомню!

Месть его коварна и чудовищна. В аудитории я уже забываю об осторожности, усаживаюсь за стол поудобнее, раскрываю конспект и вдруг...

— Кому хлеба?

Я вскакиваю, с грохотом опрокидывая стул, на лету подхватываю свою тетрадь и тут замечаю злорадную рожицу Юрки и начинаю соображать, что голос был в общем-то похожий, но чересчур пронзительный, хриплый и фальшивый. А ко мне уже оборачиваются, надо мной смеются. Коля Смыков, наш факультетский философ, поглаживая ладошкой жиденькие волосы, глубокомысленно замечает:

— А она, действительно, того... В том смысле... Ну, в общем, резковата, что ли... Вы не находите?

— Ты о ком? — притворно удивляется Юрка.— О Леночке? С чего ты взял? Да она же идеал кротости! Правда, ростом не вышла. Сама с наперсток, не больше. Закутается, как монашка, нос, как пуговица, под платком и не заметишь...

Мое великодушие безгранично, и я всех прощаю. Ладно, думаю, смейтесь. А над кем смеетесь? Над кем? Сами-то вы кто такие? Чем славитесь? Зверским аппетитом? Самомнением? Или болтливостью? Что умеете? А она — человек рабочий. О вас же, дармоедах, заботится, подносит хлеб чуть ли не к самому рту. А насчет резкости — что же ей, соловьем разливаться возле каждого? Ах, мол, милый Смыков, будьте добры, соизвольте проснуться. С добрым утром вас! Так, что ли? Да ведь уже одна ее улыбка бодрит и освежает, один ее вид светлее летнего солнышка!

А лекции идут. Остроумного и всегда возбужденного профессора, каждое слово которого мы ловим с жадностью, сменяет доцент, сухой и чопорный, снова звонок, и опять вся наша студенческая братия бурно выливается из аудитории. Ребята спорят, хохочут, галдят, шныряют по коридору, меряются силами в борьбе, шумят и резвятся, как дети.

После занятий на наши головы обрушивается столько искушений и соблазнов, что глаза разбегаются. Буйной ватагой мы бредем по городу, оживленно жестикулируем, с интересом разглядываем дома, улицы, машины, прохожих, театральные и концертные афиши, рекламы, витрины, хорошеньких девушек и все-таки не можем отделаться от впечатления, будто что-то ускользает от нас, что мы куда-то не успеваем.

Товарищи постепенно оставляют меня, и к общежитию я подхожу один.

Вечером на всем этаже спешно бреются, утюжат брюки, бегают звонить по телефону и наскоро хлебают чай, а я добровольно выключаюсь из жизни. Я ложусь в постель раньше всех. Мне нет дела до бильярда, до мощных раскатов нашей радиолы, под которую снова, глотая пыль, шаркают ногами одержимые, я мечтаю только о том, чтобы поскорее настал рассвет.

Уже сквозь дрему я слышу, как возвращается в комнату Юрка, как, боясь разбудить меня, старается поменьше скрипеть своими бронированными ботинками и долго дышит над моей кроватью, пытаясь понять, уснул я или нет.

— А шницель был сегодня в столовой что надо,— наконец, вполголоса произносит он.

«Ах, Юрка, Юрка! — умиротворенно размышляю я, не открывая глаз.— Ну, до чего ж ты черствый и сухой человек».

И окончательно засыпаю.

А утром снова грохает лифт, опять засматривают в корзину мои однокашники, и я опять не решаюсь пригласить Лену в кино.

Но однажды голос из коридора раздается слишком рано. Сегодня он какой-то робкий, сиплый, словно простуженный, и по забывчивости выговаривает совсем другие слова:

— Покупайте хлеб!

Причесываться у меня нет времени. Едва натянув брюки, я устремляюсь за дверь, испуганно спрашиваю:

— Что случилось?

— Покупайте хлеб,— важно объясняет мне толстенная короткорукая тетка в серых валенках.

— А где же Лена? — недоумеваю я.

— Какая Лена? Ах, Лена! Не знаю. Может, на курсы послали? На повышение.

— А как же... я? — невольно вырывается у меня, но я вовремя спохватываюсь, закусив губу, поспешно отступаю к своей комнате.

Юрка блаженно похрапывает во сне. Где-то внизу размеренно шаркает лопатой дворник. Мое сердце бьется как-то странно, судорожно, с перебоями. «Что ж делать? Что делать?» — в панике выстукивает оно.

В это утро — будь что будет! — я не иду на лекции. До самого вечера я поднимаюсь по лестницам, протискиваюсь к дверям, заглядываю в кабинеты начальства, ловлю в коридорах рассыльных, терпеливо и упрямо обследую конторы, отделы и тресты. Бесполезно. Лена исчезла. Она просто ушла из торговой сети.

Уже в темноте я плетусь к себе, поднимаюсь на свой этаж, валюсь на койку, подперев щеку, уныло разглядываю стену. Я больше ничего не хочу, ничего не жду, ни на что не надеюсь. С трудом Юрке удается вытянуть меня в столовую.

Мы долго стоим перед кассой, почему-то пропускаем других без очереди, а Юрка все еще глубокомысленно изучает меню. «Суп гороховый, биточки, компот,— тупо твержу я про себя, переступая с ноги на ногу,— суп гороховый, биточки...»

Я не выдерживаю, подступаю к Юрке сбоку и вдруг замечаю, что его зоркие глаза косят в сторону оконца, где бойко разбрасывает костяшки счетов молоденькая кассирша. У нее темные, похожие на мохнатую шапку волосы, маленькое, с гладкой кожей лицо, белый воротничок блузки тесно облегает тонкую шею, на жакете — цветок из черного бархата.

Я толкаю Юрку кулаком в бок и громко говорю:

— Ты что, наизусть заучиваешь?

Он бросает на меня устрашающе грозный, пронзающий насквозь взгляд и пододвигается к окошку.

Но тут что-то ломается в кассовой машине, хрупкие, измазанные чернилами пальчики проворно роются в ней, вставляют новую ленту, для пробы поворачивают ручку снова и снова.

— Безобразие! — возмущаюсь я, в упор разглядывая девушку.— Нашли время заряжать свой...

Подыскивая хлесткое словечко, я шевелю над окошком пальцами, чувствую, что Юрка исподтишка отчаянно дергает меня за полу пиджака, но уже не могу остановиться:

—... свой тарантас! А ты торчи тут, жди у моря погоды! Просто возмутительно!

Не дожидаясь нашего заказа, кассирша с неудовольствием сует Юрке чеки. Через пять минут он уже ставит на стол тарелки с борщом и ядовито шипит на меня:

— Ну и тип! И зачем только я с тобой связался? Человек она тебе или деревяшка?

Юрка усаживается так, чтобы видеть кассу, и проливает из ложки борщ. Он неестественно прям, держится с таким напряжением, будто собирается окаменеть.

— Тебе что, нездоровится? — невинно спрашиваю я.

Он не поворачивается, не отвечает, чопорно ест, не сводя глаз с девушки, а у меня вдруг пропадает охота изводить товарища. Я опорожняю тарелку, невесело прощаюсь с Юркой и тащусь домой.

Общежитие прямо-таки бурлит. Ребята снуют по лестнице, носятся с утюгами и галстуками, грохают дверью лифта, перекликаются с этажа на этаж и азартно, с победными воплями болеют в холле у телевизора,— впечатление такое, будто обитатели здания готовятся к решающему штурму вражеских позиций.

Бесплотной тенью я бреду сквозь эту беспокойную орду и поднимаюсь в свою комнату.

Сон подкатывается сразу и надолго — на всю ночь.

— Кому хлеба? — поутру ревут у меня над ухом, я просыпаюсь, недовольно бормочу что-то, натягиваю одеяло на голову, но Юрка наваливается на меня, тормошит, щекочет, и мне долго не удается оторвать от себя его щуплое, увертливое тело.

— Вставай, соня! — захлебывается он от удовольствия.— Пора на лекции!

Я терпеливо жду, пока он угомонится, неохотно поднимаюсь с постели, вздыхаю, босиком ковыляю к окну.

В коридоре топают ногами, переговариваются, весело насвистывают. А за окном светает. Бесшумно и монотонно падает снег. Везде щемяще бело, однообразно, повсюду голо, неуютно и одиноко. Сюда бы хоть тоненький лучик золотистого света, хоть немного тепла и радости... Эх, скорей бы весна!

Проводы

Он отзывался о смерти с какой-то пренебрежительной легкостью, говорил о ней с усмешкой, точно давно уже поладил с непрошеной гостьей.

— Что, бабка, не пора ли нам с тобой на Мушкетово? — частенько подзадоривал он жену таким беспечным тоном, будто приглашал ее не на кладбище, а на прогулку.

Шел ему уже восьмой десяток, но Степан Андреевич держался бодро, на здоровье не жаловался и редко обходился без дела. Обычно он возился в своем саду, чинил забор, грелся на солнце, разговаривал вслух сам с собой или читал газету, по привычке беззвучно шевеля губами. Изредка он выходил со двора и подолгу стоял у калитки, поглядывая на шахтные здания, пытаясь уловить тонкий гул вентилятора, похожий на приглушенный гудок.

Но шахта молчала. Вот уже много лет вместо отдаленных звуков Степан Андреевич слышал только враждебную, настороженную тишину. Временами она чудилась ему белой — в ней не было ни шороха, ни отдаленных шумов, ни колебаний воздуха, только чистое и ровное, как снежный покров, безмолвие. Но чаще к ней подмешивался легкий мелодичный перезвон или выплывали в памяти неясные музыкальные тона, поскрипывание подъемной клети, слабый перестук вагонных колес на стыках рельсов. Обманчивые и фальшивые, будто миражи в пустыне, звуки точно успокаивали, утешали его на старости лет.

В августе Степан Андреевич ездил на свою родину, в село на Орловщине, к младшей сестре. Поездку он

перенес легко и даже возил с собой тяжеленный ящик с инструментом. К сестре его доставили на собственной машине знакомые, там он чуть ли не всей деревне латал и чинил посуду, замки и прочие мелочи, а оттуда привез немало гостинцев.

Два дня он отдыхал от путешествия и бродил по саду. А в пятницу главный механик прислал к нему молоденького парнишку и велел Степану Андреевичу явиться на шахту.

Старик подкрутил усы, облачился в чистую, вылинявшую спецовку, завел свои большие, похожие на блюдце, часы, опустил их на цепочке в карман и с палочкой в руке отправился на рудник.

Оказалось, что ему подыскали работу. Инструментальщик уезжал лечиться на курорт, и Степана Андреевича, в прошлом неплохого слесаря, просили с месяц подежурить вместо отпускника.

Степан Андреевич согласился. Он не очень ясно представлял, как будет объясняться с клиентами при своей глухоте и поможет ли ему разговорная книга, которую собирались завести специально для него, но механику он привык доверять и с понедельника решил заступить на дежурство.

Отношения у него с механиком были старые, прочные, велись они еще с тех времен, когда механик состоял при Степане Андреевиче подручным и нередко зарабатывал нагоняй. С той поры многое изменилось, но Прохорович и теперь частенько вспоминал старика, приходил к нему посоветоваться.

Здание нового административно-бытового комбината еще не успели обжить. Свежая краска блестела на полу, на дверях и перилах лестниц, от стен и потолков веяло уютной чистотой, в коридорах и комнатах крепко засел смешанный запах штукатурки, сосновой доски и древесного лака. Степан Андреевич по-хозяйски осматривал кабинеты, деловито ощупывал двери и ручки, поворачивал вентили в душевой, становился на деревянную решетку под сеткой, точно готовился принять душ, и все повторял, поглядывая на механика:

— А что ж? Ничего! Неплохо. Как думаешь, Прохорыч?

Прохорович, смуглый седобровый мужчина с кру-

тыми плечами, кивал головой, улыбался, а потом уговорил Андреевича искупаться.

Через полчаса, усталые, распаренные после бани, они уже сидели в летнем павильончике небольшого шахтного парка, спасаясь от жары, и потягивали пиво. К ним подсел пожилой токарь с автобазы и электрик с южного участка, в прошлом тоже ученик Степана Андреевича по забою. Вскоре к их столу присоединился и паренек с непобедимым румянцем на щеках, в лихо сдвинутой на затылок форменной фуражке ученика ремесленного училища,— это его посылал утром механик к Степану Андреевичу. Они раздобыли лакомую копченую тарань, поставили на стол еще несколько пивных кружек. Новички сразу же втянули механика в разговор, заспорили с ним, что-то доказывали ему, размахивая руками.

Андреевич мало что понимал из разговора. Он только следил за жестами собеседников, выражением лиц, движением губ и невпопад улыбался. Изредка о нем вспоминал Прохорович, поворачивался к старику, пододвигал к нему тарелку с ломтиками сыра и все упрашивал закусывать.

Зато парень в щегольской фуражке заинтересовался Степаном Андреевичем не на шутку. Он придвинулся к нему поближе и допекал его своими расспросами.

— Чудной ты, дедушка! — раздельно и громко растолковывал он старику.— Кричи — поймешь, а если просто говорить — не разбираешь. Отчего?

— Я-то? Я, может, больше твоего слышу,— отозвался Степан Андреевич и начал рассказывать о том, что слышит он еще неплохо, да только свое, неизвестное другим. Ну, например, как поют, легонько посвистывая, пески,— там, в Средней Азии, он еще в двенадцатом году работал в железнодорожных мастерских; или как в Галиции, в окопах, лопочут по-своему австрияки, которых Степан Андреевич помнит с той войны; или как перелетные птицы курлычут над его родным селом,— все слышит, но как во сне.

— А шахта? — не утерпел паренек.— Шахта не снится?

— Шахта? А чего ей сниться? Она — рядом.

— Вот, говорят, что ты у нас в поселке самый старый. Больше всех прожил. Это правда?

— Врут. Мокеичев на Семеновке, тот постарше будет. Да только памятью ослабел. А я все помню. Помню, как немцы сюда пришли, как танки свои, с белыми крестами, испытывали. Подъедут к глею и айда в него палить. Да разве такую махину прошибешь?... Все тягали меня в управу, в шахту лезть приказывали. Нет, говорю, кранк — и все тут. Болен, значит. А сам приловчился зажигалки делать, с дырочками, чтобы на ветру не гасли, и сбывал на толкучке, пока не дождался наших...

И он с удивлением посмотрел на свои корявые, точно покрытые твердым наростом пальцы.

Встал из-за стола, пожал Степану Андреевичу руку и заторопился в нарядную [1] к очередной смене механик, немного погодя ушел и пожилой токарь с товарищем, а парень еще долго допрашивал старика.

— А правда, что ты оглох от взрыва? — допытывался он, повышая голос.

И Степан Андреевич охотно повторил известную всему поселку историю о злополучном выпале, взрыве под землей, о том, как он помогал откатчикам поставить на рельсы вагончики в штреке, неподалеку от поврежденного кабеля, как его настиг огненный шквал и швырнул во что-то мягкое и липкое. Очнувшись, он услышал мелодичный звон в ушах и сгоряча не обратил на него внимания. Он даже куда-то карабкался в кромешной тьме, кого-то вытаскивал из-под завала, закопченный и страшный, пробирался к главному стволу, пока его не вырвало и он не свалился без памяти среди неправдоподобной тишины. С той поры и осталась при нем глухота. Неполная потеря слуха, как называют ее врачи...

Он возвращался домой уже под вечер. Шел он не спеша, постукивая палкой, изредка останавливался, отдыхал, проводил ладонью по стриженой голове и щурился. Его маленькие выцветшие глаза почти совсем исчезали под набухшими веками, но видел старик хорошо и зорко.

Он любил свою улицу. Поселился Степан Андреевич на ней давно, еще когда выстроенные шахтой для своих рабочих домики ютились среди пустырей и не-

---

[1] Шахтное помещение, где дают рабочим сменные задания.

возделанных полей. Все, что здесь было теперь,— многоэтажные жилые дома, склады, гараж, корпус маргаринового завода,— все выросло на его глазах, и сейчас старик словно учинял смотр знакомой сторонке: а какая же она сегодня? Что у нее нового?

Это было самое людное место на улице. Говорливыми кучками брели по ней шахтеры утренней смены, гоняли мяч ребятишки, на скамье, рассыпая шелуху семечек, лениво судачили соседки.

За высоким забором примостилась на раскладной садовой лестнице Галчиха, уже немолодая, рыхлая женщина в очках. Она с увлечением обирала с дерева маленькие краснобокие яблоки и сначала не заметила старика.

«Ну, попалась,— сердито подумала она, услышав знакомое чирканье палки о землю. Сейчас начнет. Ох и вредный дед! Даром что глухой...»

Степан Андреевич остановился, опираясь на палку.

— Мое почтение, Петровна! — крикнул он.— Урожай собираешь? Опять на базар понесешь?

— А чего ж добру пропадать? — хмуро отозвалась женщина.

— И то дело... Богатеешь все? И куда ты деньги денешь, когда помрешь? Сыну бы помогла, трудненько ему обживаться на новом месте... А верно, что у тебя каждая ягодка на счету? Говорят, ты и внуков в сад не пускаешь...

Из-под очков сверкнули колючие глаза Галчихи.

Степан Андреевич усмехнулся в усы и двинулся дальше. Уже возле своей калитки он встретил шуструю девчонку в короткой и пышной, словно шатер, юбке.

— А, Валентина. Ты когда на свадьбу позовешь? Спляшу, ей-богу спляшу! Гоп, кума, не журись! — и он лихо поднял руку над головой.

Девчонка потупилась, покраснела и негромко проговорила:

— Еще не скоро, дедушка.

— Ну гляди...

Он вошел во двор и повесил палку на крюк.

— Все дворы обошел? — незлобиво спросила у него жена.— Хоть бы штаны новые надел! Все-таки на люди выходишь.

Он догадался, о чем она говорит, но возражать не стал.

— Ужинать будешь? — снова спросила жена.

— Ужинать? Можно и ужинать.

Женщина вышла в летнюю кухоньку и принялась готовить. Степан Андреевич завел старинные настенные часы в футляре из темного дерева, направил на оселке бритву, тщательно выскреб жесткие щеки, ножницами подровнял колючую щетину усов, до блеска начистил ботинки,— вечером в парке созывали собрание, надо было привести себя в порядок на случай, если его опять позовут в президиум. Чистенький и аккуратный, он вышел в сенцы, сощурился от яркого света и уселся на порог.

Солнце пригревало затылок, полуистертые доски пола источали благодатное тепло. Во дворе по утоптанной за лето земле прыгали воробьи, взъерошив перья, наскакивали друг на дружку. Из-за кустов завороженно следил за ними и нетерпеливо перебирал лапами черный кот. Кудлатый, вислоухий и круглый, как шар, пес, высунув язык, преданно глядел на хозяина добрыми, умными глазами, потом с беспокойством повел кончиками ушей, задрал блестящий нос кверху, понюхал воздух и тихонько заскулил.

Хозяйка вышла из кухни, чтобы унять собаку, увидела мужа и оторопела. Степан Андреевич приткнулся плечом к дверному косяку, его седая голова свесилась на грудь, большие, темные руки бессильно улеглись на полу.

Неотложная помощь только засвидетельствовала смерть.

Он лежал в гробу маленький, иссохший. Его руки с распухшими суставами и твердыми, как железо, ногтями казались непомерно большими, восковое, усатое лицо, затянутое паутиной морщин, приобрело суровую монументальность.

К нему то и дело подходили люди, смотрели на него, покачивали головой, изредка чья-либо рука оправляла подушку или укладывала у изголовья цветы. Приходили пожилые соседки и молоденькие, с высокими прическами девчонки, неловкие парни в бурых от ржавчины спецовках и степенные, благообразные старички. Пришел механик, и толпа расступилась перед ним, его про-

вели в комнату, вполголоса разговаривали с ним, обращались за помощью и советом насчет похорон,— здесь охотно признавали его старшинство. Пришел кузнец, земляк Андреевича, и, не переставая удивляться, рассказывал каждому о том, как совсем недавно старик заказал ему ограду на могилу, словно предчувствовал свою кончину. Пришел лесогон Канин, известный всему поселку жадина и сквалыга, и тоже начал причитать и жалеть покойника. Его одернули, он обиделся — первый раз Канин говорил искренне, а ему не верили.

Было много машин, венков и праздных зевак. Когда гроб вынесли на улицу, пронзительно заныли трубы духового оркестра, скорбно заухал барабан, а вскоре на землю стремительно хлынул ливень. Дождь начался летний, недолгий, но капли были тяжелые, крупные, падали они дружно и сразу промочили провожающих. Самые боязливые успели укрыться в ближних зданиях, а многие так и шагали за гробом, понурив головы и отворачивая лица от ветра. Их костюмы мигом потемнели и обмякли, легкие платья пристали к телу, по щекам бежали струйки воды, но люди упрямо шли следом за грузовиком, устланным красным с опущенными книзу бортами, под надрывную мелодию оркестра.

На кладбище дождь утих. Теплой желтизной вспыхнули под лучами солнца мокрые комья глины, густой и жирной стала могильная земля. Паренек в форменной фуражке сновал в толпе с краской и кисточкой в руках и все допытывался, что же написать на табличке. Одна молодая женщина то и дело хватала за локоть своего мужа и повторяла:

— Коленька, не лезь туда, костюм замараешь. Не лезь, без тебя обойдутся, Коля...

Не выпуская из рук крышки гроба, муж поднял голову и так взглянул на жену своими бешеными, подрисованными углем глазами, что она попятилась от него и больше уже не приставала.

Все ожидали, что механик что-нибудь скажет, но Прохорович только махнул рукой, торопливо отвернулся и первым бросил в могилу горсть земли.

С кладбища возвращались пешком. После дождя было свежо и прохладно. Студеной и звонкой синью отливали под ногами редкие лужицы, чисто вымытыми казались поля, травы, шахтные копры, облака и сочное

небо. Люди с удовольствием шлепали по темной, податливой земле, жадно дышали и посматривали по сторонам. Казалось, их голоса обрели ощутимый вес, каждое слово точно повисало среди вселенской тишины и покоя. Даже шахтный вентилятор вдруг умолк, остановился, будто решил отдохнуть и отдышаться.

Всю дорогу механик слушал эту отрадную тишину, поглядывал на старый террикон, по-местному глей, некогда величественный, а теперь такой невзрачный рядом с новым, послевоенным, и молчал. Механику было грустно и опустошенно легко.

— Вы что-то сказали? — спросил у механика паренек.

— Я говорю надпись надо такую сделать над могилой: добротно прожитая жизнь.

А в доме Степана Андреевича накрывали столы, разносили посуду, рассаживали людей. Тут же суетился высокий седой военный с орлиным носом. Он только что прилетел из Москвы на похороны брата и все сокрушался, отчего его не подождали.

Медленно пробили часы, их величавый звон поплыл над столами, над суковатой палкой, над его спецовкой на вешалке, над забытыми на комоде очками.

Таня

Таня уже знает, что праздники бывают большие и маленькие.

Большие праздники ей не очень нравятся потому, что их надоедает ждать.

Воскресенья она больше любит: они наступают всего через шесть дней, утром мама печет пирог и даже разрешает Тане попробовать тесто, а вечером всегда приходят тетя Аня и дядя Вася.

Дядя Вася особенный. Вместо пяти пальцев на левой руке у него всего два, да и то один из них без ногтя, коротенький и гладкий, как ладонь у куклы Алены. Остальные пальцы ему «на войне фашист оттяпал».

В воскресенье Танин дневной сон прерывает мама. Она откидывает сетку кровати и ласково говорит:

— Таня, вставай!

Светлая комната несколько раз вспыхивает и гаснет, будто настоящее кино,— тяжелые веки сами собой слипаются, но мама настойчиво и певуче продолжает:

— Танечка! Танюша! Пора вставать!

Таня открывает глаза, видит серебряную брошку-собачку на маминой блузке и тянется к ней руками.

Мама поднимает ее, ставит на коврик и уходит.

Девочка несколько секунд держится за холодную спинку кровати и не спеша оглядывает комнату. С ее помятого, в розовых полосах и пятнах лица не сходит сердитое выражение. Мама, как всегда, забывает вернуться. Приходится самой засовывать ноги в мохнатые комнатные туфли.

Она неуверенно идет к столу, долго стоит возле него, задумчиво приложив палец к губам, затем бесшумно взбирается на стул. Оглянувшись на дверь, она тя-

нется к узорному слоеному пирогу и к маленькой чашке, в которой колышется морщинистая молочная пенка.

— Танюша! Умываться! Молоко остынет,— доносится голос мамы.

Таня отдергивает руку, слезает со стула и понуро тащится на кухню. Ее широкая, как колокол, рубашонка, чуть покачиваясь, плавно движется над полом.

Вода холодная. Таня ощущает это, дотронувшись пальцем до плотной гладкой струи. Поток воды круглым колечком охватывает палец, собирается под ним узелком и беспорядочными брызгами барабанит по раковине. Разве можно такой холодной умываться?

— Мама! Мама! Я уже умылась!

Мама подходит к ней, и девочка виновато отворачивается.

— А-я-яй! И не стыдно маму обманывать? Бери мыло и сейчас же умывайся!

— А потом оденешь меня? Оденешь?

— А сама? Ты ведь уже большая.

— Немножко большая, немножко маленькая,— хитрит девочка, но мама уже не слышит.

Таня вздыхает и негнущимися, словно деревянными, руками начинает растирать мыло. Умывшись, она одевается, на что уходит минут двадцать. Наконец, все это позади. Пирог съеден, а остаток молока в чашке кажется невкусным. Девочка долго водит по комнате большими глазами, но не находит в ней ничего нового и интересного. Тогда она, стараясь не шуметь, проскальзывает в соседнюю комнату.

Юрик, мальчик лет двенадцати, сын тети Груни, соседки по квартире, склонился над тетрадкой.

Девочка встает на цыпочки и долго присматривается к непонятным закорючкам, которые выводит в тетради мальчик.

Она спешит в свою комнату и приносит книжку, тетрадь, цветные карандаши, подсовывает стул. Потом она слюнявит карандаш и старательно водит им по чистому листу тетради. Скоро уже весь лист испещрен цветными зарослями, венками и зубчатыми стенками.

Когда в тетради не остается чистого места, девочка начинает разрисовывать узорами книжную страницу.

— Маме скажу! — шепчет Юрик.

Затем она начинает читать, четко выделяя слоги, причем, книга раскрыта точно на нужной странице:

На-ша Та-ня гром-ко плачет,
Уро-нила в реч-ку мячик...

Декламацию прерывает мама:

— Таня! Сейчас же иди сюда! Не мешай Юрику.

Приходится подчиниться. Девочка неохотно идет на кухню.

— Посмотри на себя! — мама подносит к ее лицу зеркало.

Танины губы в красно-синих звездах и полосках.

— Вот ты добалуешься, что не пущу гулять. Так папе и скажу: Таня не слушает, не ходи с ней на улицу. Марш умываться! Да с мылом!

На этот раз Таня усердно трет лицо, вытирает его полотенцем и на минуту чинно усаживается в маленьком кресле.

Но разве можно усидеть долго?

Вскоре она уже расхаживает по кухне, то и дело натыкаясь на маму, и поет:

Ах, Самара городок,
Беспокойная я...

Она оглядывается, но мать пока молчит. Тогда девочка начинает петь быстрей и громче, наподобие марша, барабаня ложкой по плите, шкафу, двери:

Беспокойная я,
Успокойте меня.

— Вот я тебя успокою! — грозит мать.

«Как самой, так можно...» — думает Таня и вслух говорит:

— Мама, а мам! Не делай кастрюлькой туда-сюда!

Мама не отвечает.

Такое безразличие обижает девочку и она, сердито выпятив губы, направляется в свой угол.

Вот так же в углу стоит соседский мальчик Толя, когда провинится. Ему, наверно, тоже бывает скучно, как Тане сейчас. Перед ней висит хорошо знакомый детский календарь с рисунками: зайчонок мчится на лыжах с горы, другой кувыркнулся в сугроб, а лыжа так и катится вниз: под ними ровные столбики цифр и

цветные буквы. К ним девочка когда-то добавила свои поправки в виде чернильных закорючек. Правый нижний угол календаря оторван, и на его месте чернеет в стене дырка от гвоздя. Таня вздыхает и ногтем пробует, прочно ли держится там штукатурка.

В это время в комнату входит Толя, четырехлетний мальчик. У него коротенький нос и узкие щелки глаз.

— Толик пришел! — громко возвещает Таня, но мама еще сердится и не смотрит на нее.

Таня помогает мальчику раздеться, подводит к ящику с игрушками и усаживает на стульчик:

— Сиди, друг любезный!

Толик, не слушая ее, рассказывает:

— Наша кошка мышей принесла. Они запищали и сдохнули.

Таня с превосходством старшей прерывает его:

— Наших всех мышонков кот Васька съел.

— Мне мама купила шар, а он взял и слопнул.

Новости исчерпаны, и девочка достает из ящика куклу, плюшевого Мишку, кубики.

Мальчику все эти игрушки знакомы и неинтересны. Только от медведя он не отказывается и бесцеремонно пробует отковырнуть красные бусинки глаз.

— Нельзя! — строго говорит Таня и вырывает из его рук Мишку. Потом, оглянувшись, добавляет: — На улицу не пущу!

И вот уже все ее хозяйство разложено по полу. Обидно, что мама не видит такой интересной игры. Она, наверно, рассердилась надолго.

Таня садится на пол и уныло передвигает кубики, позабыв о мальчике.

— Это что такое, друг любезный! — раздается над ее головой густой бас отца.— Что за беспорядки, а?

Таня вскакивает и с визгом повисает на папиной ноге. Ей хочется, чтобы отец взял ее на руки, хочется прижаться к его холодному, пахнущему табаком лицу. Так она делает всегда, но сегодня это уже невозможно. Ведь она успела провиниться.

Отец, так ни о чем и не поговорив с нею, уходит к маме.

— Я пойду домой,— объявляет Толик, но Таня безучастна.

— Таня! Иди-ка сюда! — зовет отец.

Таня нагибает голову и не спеша бредет на кухню.

— Ну, рассказывай!

Девочка исподлобья поглядывает на ноги родителей и молча крутит пуговицу платья.

— Что же ты молчишь? Опять Юрику мешала? Маму не слушала, да? А я хотел тебя покатать на санках...

Она еще ниже наклоняет голову, глаза ее наливаются слезами.

— Будешь баловаться?

Таня отрицательно крутит головой,

— Ну, смотри мне!

Девочка с благодарностью приникает к отцовским коленям. Наконец, они отправляются на прогулку. Впереди покачиваются полы папиного пальто. Из-под валенок с хрустом отлетают спрессованные комья снега, блестят солнечные искры. Санки мягко покачиваются на уезженной колее.

— Замерзла? — спрашивает отец.

Таня не отвечает на вопрос, и, как бы вспоминая, говорит:

— Мама со мной не разговаривала.

Она в меховой шубе и шапке. Воротник шубы туго стянут шарфом, а из рукавов чуть выглядывают темно-красные варежки.

— За что же это она?

Таня молчит. Холодные снежинки садятся на ее нос, но она не шевелится.

— Ручки замерзли?

— Они не замерзли, они болят.

Возвращаются.

Вечером приходят дядя Вася и тетя Аня. Девочка встречает их у порога и помогает раздеться. Она пододвигает стул и с маминой интонацией говорит:

— Прошу!

Потом она обращается к дяде Васе:

— Прошу! — и с улыбкой добавляет: — Друг любезный!

— Принес? — спрашивает папа у дяди Васи.

Дядя Вася подает отцу свернутую трубочкой книжку. Несмотря на папино объяснение, Тане всегда кажется, что книжка одна и та же, потому что обложки

у них всегда одинаковые, они пахнут переводными картинками, а буквы на их страницах мелкие-мелкие, точно черные песчинки.

Вечером начинается самое интересное. Таня ставит на стол игрушечную газовую плитку, и они с дядей Васей начинают «варить сталь». Правда, в этой плите нет каких-то завалочных окон, но вместо них имеется духовка. Таня повязывает темный фартук, накладывает на совочек обрезки консервной банки, жестяные пробки от бутылок и высыпает все в плиту. Дядя Вася становится необычно серьезным и строгим. Он достает из нагрудного кармана синее стеклышко и через него заглядывает в духовку.

— Флюсы! — тоном приказания произносит он непонятное слово, и Таня спешит посыпать жестяные обрезки зубным порошком. Снова заглядывая через стекло, дядя Вася, наконец, машет рукой.

— Пошла!

По этой команде Таня высыпает жестянки из печи в чашку, которая уже называется ковшом.

Отец, поглядывая на них, посмеивается:

— Горе-сталевары!

На это дядя Вася обычно отвечает:

— Смейся, смейся! А вот с третьего места на мое, на первое, тебе не перебраться!

И хотя три яблока все-таки больше одного, Тане начинает казаться, что первое место действительно лучше.

После этого дядя Вася показывает фокус. Он вырезает из картона маленьких человечков, и через минуту они начинают дергаться и плясать возле его колен. Таня догадывается, что фокус не обходится без хитрости, но обнаружить ее не так-то просто.

А еще он умеет вырезать настоящую печать из обыкновенной ученической резинки, делать из спичек пуговицы для куклы, умеет очень быстро, «по-военному», как он говорит, расстегнуть свой пиджак и застегнуть.

Это умение очень нравится девочке, и позже, за столом, она тайком от всех застегивает и расстегивает под скатертью резинку от чулка. За столом дядя Вася с самым серьезным выражением говорит Тане «вы», как папа тете Ане, так же подкладывает ей на тарелку

кушанья и украдкой от мамы, показывает, как брать котлету вилкой.

Таня косится на его руку, и эта рука кажется ей самой красивой на свете.

Отчего дядя Вася лучше, чем другие, ей не совсем понятно, но только ей хочется играть с ним, всегда слушаться его и никогда не обманывать.

После ужина папа берет гитару, и они с дядей Васей поют песню, которая называется «Землянка». Девочка усаживается между ними и, поблескивая глазами, наблюдает и думает.

Думает она о руке дяди Васи и страшном фашисте с топором, о печке, которая варит сталь вместо супа, о теплой землянке, где лежат какие-то неизвестные ей поленья, и о многом другом.

Песня еще не допета, а Танин маленький праздник уже закончился. Она сладко спит, доверчиво склонившись головой к руке дяди Васи.

Несколько дней

I

В дороге боль усилилась. Оберегая свое тело от толчков и качки, Сбитнев упирался руками в поручни, приподнимался над носилками и судорожно глотал слюну.

Но там, куда они приехали, его не приняли. Снаружи, за кабиной неотложки, долго ссорились два унылых голоса, машина снова двинулась, и опять надо было напрягать руки, удерживая тело на весу, и с опаской ждать очередного толчка. Наконец носилки выкатили из кузова, подняли на крыльцо, пронесли Сбитнева по коридору. Только в душной комнате с деревянными решетками на полу, множеством труб и каплями влаги на стенах он разнял зубы.

Пришел врач, молодой, плотный и незыблемый, точно статуя.

— Ну-с, в чем дело? — с наигранной бодростью спросил он и, задрав рубашку Сбитнева, негромко присвистнул.

— Эк тебя разрисовали! — сказал он, щуря веселые глаза.— Целая картинная галерея.

Заметив гладкий рубец справа, пониже ребра, он нажал на него куцым, как обрубок, пальцем так, что стало щекотно.

— А это? Финкой, конечно?

— Давно... Давай кончай, доктор. Делай чего-нибудь,— проговорил Сбитнев, облизывая губы.— Не могу больше.

У врача разошлись, разгладились морщинки у глаз, он наклонился, сосчитал у Сбитнева пульс и двумя руками принялся ощупывать живот.

— Больно? А здесь?.. Здесь тоже?.. Как больно?.. Так, так... И давно уже?.. Ну и чудесно!

Доктор выпрямился и отошел к умывальнику.

— Готовить к операции! — распорядился он через плечо и словно потерял всякий интерес к больному.

— А без нее нельзя? — вяло спросил Сбитнев.

Доктор промолчал. А минут через пятнадцать Сбитнева переодели, уложили на тележку и повезли по коридору.

За дверью на него стремительно хлынул сильный ровный свет. Иван сощурился, осторожно повернул голову, увидел просторную комнату, множество широких, ничем не защищенных окон, большой стол, людей в резиновых перчатках с белыми повязками на лицах, поежился и закрыл глаза.

Ему было очень больно, так больно, словно все его налитое, узловатое тело безжалостно разрывали на части. Хотелось метаться, крушить что под руку попадет, хотелось оттолкнуть от себя потное лицо доктора, дико и страшно ругаться, но руки и ноги Сбитнева были накрепко привязаны, а у изголовья стояла полная, чистенькая, вся пушисто-снеговая медсестра и пухлой ладонью гладила его по щеке. При ней не хватало духу вымолвить бранное слово. Иван отводил взгляд от ее покатой груди и до боли закусывал губу.

Потом его обессиленное тело везли на тележке по коридору мимо чужих жалостливых лиц. Иван равнодушно смотрел на незнакомых людей и все удивлялся, как это он умудрился уцелеть, выдержать, выжить.

Санитарки вкатили тележку в палату, перенесли Сбитнева на койку, укрыли одеялом. Почуяв под собой надежную опору, Иван закрыл глаза и словно нырнул в темное глухое беспамятство.

Очнулся он вечером, ощутил горячую сухость во рту и попросил:

— Пить...

Выждав, он повторил громче и настойчивей:

— Есть тут кто? Пить!

— Э, дорогой мой! О воде забудь,— отозвался зна-

комый благодушный голос доктора. Тяжелый и сильный, он уселся возле Сбитнева и продолжал:

— Сейчас тебе нельзя ни капли! Двое суток — ни глотка, иначе — амба!

Из-за головы Сбитнева он достал стакан, обмакнул в воду перевязанную марлей ложку и протянул Ивану.

— Можно вот это. Но воду не глотать!

Сбитнев послушно вобрал губами капли влаги, осмотрелся. У его ног на доске висели стеклянные трубки с прозрачной жидкостью, от них спускались под одеяло резиновые шланги.

— Больно?

Сбитнев осторожно кивнул головой. Но боль была уже не прежняя, огненная, а ровная, терпимая.

— Сестрица, утку! — потребовали на койке напротив.

«Какую утку? — удивился Иван.— Утки... Муть какая-то. Должно быть, бред начинается...»

И снова окунулся в забытье.

II

Очнулся он от ощущения тяжести, тупого давления в бедрах — туда, под кожу, капля за каплей вливался теплый раствор.

За окном светало. Низкое фиолетовое небо казалось холодным, последняя звездочка одиноко мигнула издали, сжалась в песчинку и вскоре погасла.

Иван попытался шевельнуться и моментально замер, почувствовав неприятные горячие щипки на месте раны. Он боязливо повернул голову, освоился с полутьмой, различил длинную фигуру в белом одеянии. Свесив ноги на пол, сгорбясь, прикрыв лицо ладонями, человек сидел на койке и медленно раскачивался.

— О-о! — изредка доносилось оттуда.— О-о-о!

«Чего он? — с неприязнью подумал Сбитнев.— Доходит, что ли? Убрали бы его, и без него тошно...»

В коридоре послышались голоса и шаги, внизу, за окном, зафыркала автомашина. Пришла санитарка, подоткнула подол халата, вытерла влажной тряпкой полы и вышла.

«Ну, кто следующий? Ну!» — мысленно поторапливал кого-то Сбитнев, поглядывая на дверь.

Следующей оказалась медсестра из операционной. Она забежала в палату, поздоровалась, потирая озябшие руки, заговорила:

— Денек сегодня — прелесть! Что, Лукьяныч? — обратилась она к соседу Сбитнева, мужчине лет пятидесяти.— Скоро домой?

— Кто его знает,— отозвался мужчина. Он уже лежал на спине, прикрыв простыней костлявые ноги.

— Скоро, скоро! — проговорила она с такой уверенностью, будто здоровье Лукьяныча зависело от нее.

— А вы? — она вдруг повернулась к Сбитневу.— Легче сегодня? Вы молодцом. Даже не кричали вчера. Сильный!

Сбитневу вспомнился вчерашний стол, ладони сестры на своих щеках, он вспомнил, как ему хотелось выругаться, и нахмурился.

— Поправляйтесь! — сказала сестра на прощанье.

— Чего она приходила? — спросил Иван у соседа.— Проверка, что ли?

— Зачем проверка? Так просто, от себя. Каждое утро заходит. Уважительная.

Минут через пять явился доктор.

— Ну, Сбитнев,— сказал он.— Как самочувствие? Что-нибудь беспокоит? Жалобы есть? Выкладывай!

Иван отвел глаза, мотнул головой в сторону сосудов с жидкостью.

— Убрали бы эти банки. Хватит. Мутит меня от них...

— Так надо, милый. Терпи уж, ничего не поделаешь. Да ты не злись, голубчик. Поживешь у нас, отдохнешь, поправишься — чем не санаторий? Лежи себе, да принимай родственников и знакомых...

Заметив, что Иван отвернулся к стене, доктор вздохнул и суховато добавил:

— Уж очень ты, парень, ершист.

Он уселся возле пожилого мужчины и заговорил с ним.

— Что, Лукьяныч? Все томишься? А зря. Желудок твой работает, а для хирурга это милее иной симфонии.

— Тебе видней, Виктор Сергеевич...

Вскоре доктор ушел. Иван притих, засмотрелся на стену, задумался.

Нет, не жалует его судьба. Наверное, рожей не вышел. Ни одной поблажки за всю его жизнь, ни одной удачи, ничего такого, что родилось бы по его желанию, исходило бы от него самого. Почти каждое событие возникало волею случая, обстоятельств, чужих людей, а он только подчинялся условиям, плыл по течению.

В три года осиротел, рос в деревне, на теткиных хлебах,— но кто же выбирает себе детство по вкусу? Или ремесленное: что он смыслил тогда, в пятнадцать лет, когда отсылал в училище документы? Разве что стремился облегчить теткину участь.

Окончил ремесленное — направили на стройку. Изо дня в день торчал на участке, нарезал на трубах резьбу, группировал радиаторы, монтировал в новых домах стояки и магистрали. Жил в большом общежитии с целой батареей казенных чайников на кухне, неисправным телевизором, шеренгами пустых бутылок после зарплаты и безусым воспитателем, у которого вечно исчезали свежие газеты, а вместо культинвентаря в сейфе хранилась пухлая стопка расписок...

Потом — Сенька. Все началось со скуки — в общежитии было очень скучно. Рядом шумел громадный город, а хлопцы пропадали по вечерам в обшарпанном, похожем на сарай, клубе. В клубе щелкают семечки, на сеансах без конца рвутся старые киноленты, в зале свистят, топают ногами, бросают на сцену медяки во время концертов. А на галерке толкутся упитанные пареньки в щегольских сапожках, расстегнутых ватниках, надвинутых до ушей кепках. Там всегда весело, интересно, там водятся деньги, азартно режутся в карты, слышится хохот, соленые остроты, там — сговорчивые, с нагловатыми улыбками, девчонки. И, конечно, Сенька-Гриб, футболист и голубятник, душа общества, заводила. Он успел отсидеть срок в колонии, с ним считаются, его слушаются, а окрестные жители отзываются о нем опасливо и неопределенно: «Шалый...»

Через год на галерке признали Ивана своим. Из общежития он ушел, поселился на частной квартире и почувствовал себя свободным. Правда, обращению с разбитными бывалыми девчонками он так и не научился. Больше того, он их возненавидел. Сенька и его друзья

обходились с ними запросто: вместе пили, шатались по улицам и паркам, деловито, без стеснения, уединялись, иногда для острастки хлестали подруг по щекам. А у Ивана после первой же рюмки зрели брезгливость и отвращение, и он обычно грубо отделывался от своих острых на язык спутниц.

И вот вчера его скрутило прямо на улице. Он скорчился от боли, опустился на асфальт и не мог пошевелиться, а Сенька бегал звонить по телефону и после не отходил от Ивана, пока не подоспела скорая помощь. Да, только ее и недоставало, этой операции...

Иван поморщился, закрыл глаза и надолго затих.

Вечером в палату привели студентов. Их было много, и почти все они внимательно слушали незнакомого доктора, лишь кое-кто со скукой поглядывал в окно. А девушка в очках наклонилась к Сбитневу, взяла его за руку, поглядывая на золотые часики, выслушала пульс.

— Чего тебе? — хмуро спросил Иван.

Она не ответила, деловито отвернула одеяло, намереваясь осмотреть рану. Сбитнев увидел ее тонкие крашеные губы, темную, окруженную белесыми ресничками родинку на щеке и с ненавистью гаркнул:

— Уйди!

Лекцию прервали, студентов увели. Лукьяныч привстал на койке и принялся успокаивать Сбитнева.

— Отстань, дед! — отмахнулся от него Иван. В животе у него горело, рану захлестывало что-то огненное и липкое.

Прибежала сестра, пришел доктор. Глядя на их постные, осуждающие лица, Иван вконец разошелся:

— Ну, чего уставились? Театр устроили, да? Что я вам, кролик? У-у!..

Не слушая, доктор крепко держал Ивана за руку, скупо и властно распоряжался.

Остальное Сбитнев помнил плохо. Кажется, медсестра выбегала из палаты, к его койке придвинули желтый электрический свет. Мелькнули пальцы медсестры, длинная игла шприца. И тяжесть в бедре, и капли под кожей, и грелка, и что-то легкое, курчавое, как облако, надвинулось на лоб, на глаза, на плечи, и все его тело точно утонуло в тяжелой и теплой воде.

III

К полночи Сбитнев выспался. Неприятные ощущения исчезли, но теперь нашелся новый противник — время. Иван просыпался, подносил к глазам наручные часы и вглядывался в зеленоватые очажки цифр — сколько? Неужели только два. После тревожного забытья первым долгом смотрел на темное небо за окном — не светает ли? Нет, все еще нет...

Но вот полутьма стала редеть, рассеиваться, прояснились и словно раздвинулись стены, проснулся Лукьяныч, а Иван все ждал, ждал медсестру, санитарку с мокрой щеткой, ждал, когда мимо отворенной двери, придерживая полосатые штаны и халаты, прошлепают по нужде больные, ждал, когда его умоют, ждал прихода врача, ждал неизвестно чего.

Пришла санитарка, перестелила постель Лукьянычу.

— Сейчас обход будет! — предупредила она.

— Небось не съедят,— сказал ей вслед Лукьяныч и прилег на кровать.

Люди в халатах входили в палату гуськом и останавливались между койками. Они держались скованно, почтительно поглядывая на пожилого человека с бородкой клинышком. Знакомый, теперь непривычно серьезный, доктор давал пояснения, сухо и неинтересно рассказывал о Лукьяныче, о том, что ему произведена резекция желудка и что какой-то таинственный патогенез его заболевания чрезвычайно сложен.

Сбитнев слушал рассказ, с опаской ожидал своей очереди, мрачнел, побаиваясь, что вот сейчас доктор пожалуется на него начальству за вчерашнюю вспышку.

Но все обошлось. Виктор Сергеевич коротко разъяснил, с какими признаками острого аппендицита доставили больного в клинику, как прошла операция и когда он надеется поставить Сбитнева на ноги.

Старичок с бородкой, взглянув на Ивана, двинулся к выходу, за ним по очереди чинно удалились остальные. Виктор Сергеевич остался.

— Ну, герой, как спалось? — спросил он у Сбитнева.— Тревожило что-нибудь? Не помнишь? Ну и чу-

десно. Дней через пять выпишем, обещаю. Рад, наверно, что от живодеров избавишься?

Сбитнев нехотя улыбнулся.

— Хорошо бы побриться,— сказал он.

— Что, уж не подружку ли ждешь? Ну, ну, я пошутил. Завтра побреют.

— Виктор Сергеевич, гляди-ко,— позвал Лукьяныч.— Рана у меня чегой-то мокрит.

Доктор подсел к нему, осмотрел приклеенную пластырем повязку, принялся успокаивать больного. Говорил он теперь иначе, нежели с людьми в халатах, в его голосе снова слышалась теплота, участие, снисходительная улыбка.

Скоро доктора куда-то вызвали. Дежурная сестра принесла Лукьянычу завтрак. Наклонясь над тумбочкой, он медленно жевал. Чтобы не думать о еде, Иван отвернулся и уставился в потолок.

Вот Лукьяныч отодвинул посуду, кашлянул, прилег поверх одеяла и вытянул ноги.

— Можно к вам? — спросили из-за двери.

— А? Кто? — Лукьяныч снова поднялся.— Ты, Нина? Входи, входи.

Худенькая девушка лет восемнадцати вежливо кивнула Сбитневу, подошла к Лукьянычу и села на стул.

— Как здоровье?

— Да ничего, дочка, не жалуюсь.

— Я тебе меду принесла. А здесь лимон и сметана.

Чувствуя, что за ней наблюдают, она взглянула на Сбитнева и поспешно отвела глаза. На голове у нее кокетливо повязанный, блестящий платок в мелкую горошину, плечи узкие, ногти крашеные, на пальце перстенек, на ногах туфли без каблуков... Городская штучка, сразу видать...

— Почитать что-нибудь принесла? — спросил Лукьяныч.

— А как же. Вот.

Она вынула из хозяйственной сумки книги, Лукьяныч сквозь очки осмотрел их.

— Ну, эту, Нинок, ты зря. Непутевый он, Есенин твой. Незачем читать.

— Это почему же? — возмутилась она.— Ты еще не читал, а судишь. Вот послушай.

Нина полистала книгу, остановилась на какой-то странице и начала:

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком...

Поначалу Сбитнев прислушивался к стихам вполуха, но потом рифмованные строчки увлекли его. Их было трудно пересказать, трудно запомнить, но они сами собой приставали к сердцу, отзывались внутри сладкой щемящей нотой.

— Ну, что? Плохо?

— Не знаю... Оставь, посмотрю.

Лукьяныч крякнул, хрустнув суставами, подобрал под себя ноги, откинулся на подушку, такой несуразный и нескладный в своем измятом белье рядом с молодой и яркой Ниной, после протяжных, похожих на песню, стихов.

— Скучно тут, Нинок,— сказал он.— Домой бы... А что нового у тебя?

— Ничего особенного, папа. Хожу в институт, в кино. Вчера с Татьяной дежурили...

Сбитнев насторожился. Дежурила? Комсомольский патруль, значит? Или как там у них, дружина, что ли? Ей тоже больше всех надо? И чего лезут? Кто их просит? Дохлая, а туда же...

Лукьяныча позвали на перевязку.

— Ты посиди, я сейчас! — заторопился он и, опираясь на палку, поковылял к двери.

Нина развязала платок, спустила его на плечи, повернулась к Сбитневу лицом, и на мочках ее ушей затрепетали крохотные слезки-сережки.

— Наверное, больно вам? — спросила она.

— Н-не очень...

Прическа у нее двухэтажная: вверху волосы вздымаются копной, внизу жесткими жгутиками свешиваются на лоб. Вот слезки у ее щек снова замигали.

— А... вам ничего не надо? Я бы могла...

— Почитай! — выпалил Сбитнев.

Она послушно взяла книгу в руки, спросила:

— Что читать?

— То самое...

Иван уже не соображал, о чем говорится в стихотворении, не старался проникнуться прежним ощущением,

а только прислушивался к голосу Нины да украдкой рассматривал ее. Какая она все-таки узкая, скользкая, сверкающая, как рыбешка. Такую, поди, и не обнимешь — выскользнет. Да и не подпустит она его к себе. Знала б его компанию, так и вовсе нос в сторону воротила б...

Нина умолкла, выждала, не скажет ли Сбитнев что-нибудь, и предложила:

— А вот еще. Послушайте.

— Хватит! — грубо сказал он.

Она обидчиво выпятила губы.

— Да ты не сердись, чудачка...

Она быстро взглянула на него и ничего не сказала. Отвороты больничного халата распахнулись, на жакете блеснул маленький, будто обернутый слюдой, значок.

Сбитнев покосился на него и спросил:

— Что это у тебя?

— Это? «Турист СССР». А что?

— Так...

Вернулся Лукьяныч, придерживая пижаму, осторожно опустился на койку, заговорил с дочерью. Под их негромкую беседу Иван незаметно уснул.

IV

Его разбудило солнце. Ласковые лучи согревали подушку, щекотали за ухом, даже сквозь веки слепили глаза. Над головой жидким серебром сияла пушинка.

Нины в палате уже не было. Лукьяныч боязливо ступал вдоль стены, комично наклонив голову, точно прислушивался. Глядя на него, Сбитнев оперся на локти, приподнял голову, с наслаждением потянулся.

— Живем, значит? — сказал Лукьяныч.— А я уже разгуливаю. Видал? Скоро выпишут! Ты чего помалкиваешь? — напустился он на Ивана.— Общество тебе не подходит, что ли? Рассказал бы что-нибудь. Где работаешь? Так, так. Мастеровой, значит. Добро!

Он подошел к своей тумбочке и принялся что-то искать. Не торопясь, избегая лишних движений, он шарил в постели, приподнимал простыни, подушки, заглядывал под кровать. Наконец он обнаружил очки на собственном носу, чертыхнулся и успокоился.

Через минуту Лукьяныч лег, вытянул ноги и, точно сетуя на судьбу, сказал:

— Так-то вот, друг. Жизнь хороша, когда она мила. Мне, к примеру, уже не пей, не кури, не утомляйся. Это как же понимать-то? А если мне, скажем, работа в охотку или с приятелем покалякать вздумалось? Стопка, брат, если компания по сердцу, иной раз для души слаще меду. А тут — не смей. Обидно! Ты молодой, зеленый, тебе что. А я уже и в шахту негодный...

— А уйти нельзя?

— Почему нельзя? Можно. Да ведь кто к чему приспособлен.

— В шахте, говорят, опасно...

— По улице ходить, милый, тоже опасно — того и гляди задавят. А ходят же.

Он отвернулся и взялся за книгу.

Вошла знакомая медсестра, пожилая, с искривленными пальцами, округлыми, как у раздобревшей домашней хозяйки, чертами лица — тетя Катя, как называли ее санитарки. Сбитнев наблюдал за ее скупыми, точными движениями и все удивлялся, как ей не надоест прислуживать незнакомым людям за какие-нибудь сорок или пятьдесят рублей в месяц. Не утерпев, он спросил:

— Ты сколько здесь получаешь?

— Все мои. А что? Хочешь прибавить?

Он усмехнулся и подставил оголенную руку под шприц. Тетя Катя ловко, почти безболезненно ввела иглу под кожу, прижала к телу вату.

— Тебе, видно, и со своими мороки по горло. Сынов у тебя много? — снова заговорил Иван.

— Дочь. Школу кончает. Болтушка вроде тебя. Ты, часом, не сватать собрался?

— Вроде нет. А... пошел бы в зятья?

Ее глаза лукаво блеснули.

— А почему бы и нет? Чем не парень?

Она собрала инструменты и направилась к выходу.

— Вам кого? — вдруг спросила она у двери.

«Наверное, Сенька-Гриб»,— мелькнуло в сознании у Ивана. Он повернулся к двери и удивился:

— Марийка?!

— Я...

Просторный халат путался у нее в ногах, Марийка шла к Сбитневу, неловко прижимая к животу бумажный

сверток. У самой койки газета прорвалась, и увесистые апельсины один за другим ринулись на пол. Марийка смутилась, присела на корточки, подобрала апельсины.

— Куда их деть? — спросила она, выпрямившись.

— Да зачем же... столько? — упрекнул ее Иван.— Да ты садись, садись!

Она примостилась на краешке стула, уронила на колени обожженные известью руки, негромко заговорила:

— Больно было тебе?.. А я только сегодня узнала. Просто как чувствовала: болит душа, а отчего — не пойму... Что смотришь? Я ведь прямо с работы...

...Да, да, она со стройки: под халатом спецовочная куртка, полинявшие брюки, над левой бровью пятнышко известкового раствора... Но как она узнала?

— Плохо тебе? — участливо спросила она, поправляя одеяло.— Похудел-то как...

Иван пошевелился, хотел привстать, но Марийка всполошилась:

— Ой, что ты! Лежи, лежи! Тебе нельзя вставать...

Она медленно обвела взглядом стены, тумбочки, люстры на потолке и опять повернулась к Ивану. Покусывая нижнюю губу, Марийка глядела на его руки и ничего не видела: на ее глазах блестели слезы.

Сбитнев почувствовал, как в груди у него сладко защемило. Жалость и участие к себе, женские слезы из-за него — это впервые. Первый и единственный раз за всю жизнь. Чем же он их заслужил? Именно он, задиристый, злой...

— Тебе чего-нибудь принести?

Он отрицательно покачал головой, но по выражению ее лица понял, что она все равно не послушает. И тогда, сам не зная зачем, он протянул к ней руку. Марийка наклонилась поближе, спросила:

— Что ты? Подать что?

Не отвечая, Иван сгреб пальцами ее ладошку, потянул к себе, положил на свой лоб. Ладонь была узкая, теплая, в царапинах, от ее легкой тяжести голове стало тепло-тепло...

— А теперь иди,— сказал он.— Иди, иди... Тебе далеко добираться.

— Да, пора,— спохватилась она.— Но я приду еще! Обязательно приду!

Не дожидаясь, пока она выйдет, Иван закрыл глаза — смотреть на нее было и приятно и больно.

V

Настроение родится порой из мелочи, из пустяка: веселые переливы красок, перехваченная на лету улыбка, шутка, доброе слово — и человеку становится легче, теплей на душе, ему уже верится, будто до полного счастья рукой подать...

С утра Сбитнева побрили, освежили одеколоном, поставили перед койкой стакан с бульоном, положили сухарик. Жидкий, постный бульон показался ему на диво ароматным и вкусным, сухарь так и таял во рту, гладкие щеки туго пружинили — все это по-настоящему радовало Ивана. А в памяти еще держалось лицо Марийки с блестящими от слез глазами, с кружочком извести над бровью, на тумбочке громоздились уложенные ее руками апельсины.

Сбитнев потянулся к тумбочке, взял апельсин, задумчиво подбросил его несколько раз на ладони и осторожно уложил на место.

...С Марийкой было нелегко. Хорошему обращению Иван не научился, а хамить при ней не позволяла совесть. Так они и проводили время: больше говорила она, а он помалкивал да соглашался. Была она простая в обхождении, серьезная в мыслях и почти ребенок с виду в своей голубой вязаной шапочке с помпоном. Не страшась пересудов, она ходила к нему домой и приносила на работу завтраки, без стеснения брала его под руку на людях. Сбитневу завидовали, его подзадоривали, а он все больше привязывался к ней и все меньше понимал, что ему делать дальше.

Иногда, повздорив с Иваном, Марийка прогоняла его и первая подходила к нему наутро. Увидев Ивана в кругу Сенькиных друзей, она неделю не здоровалась с ним, а потом предложила напрямик: или он переберется к ней, чтобы жить вместе по-настоящему, как люди, и распрощается с дружками, или... А Сбитневу это «или» было ни к чему, проще было оставить все как

есть, ничего не меняя. И тогда-то он поссорился с Марийкой всерьез. А она все-таки пришла к нему в больницу, пришла, будто ничего у них не произошло и все осталось по-старому. Вот и пойми людей...

Сбитнев свесил ноги с кровати и долго сидел, радуясь возможности выпрямиться, хоть ненадолго оторваться от надоевшей койки. Да, день сегодня удачный. Так-то еще жить можно. А если б сюда еще Сеньку, да врезать бы по стаканчику... А что? Возьмет и явится. Он такой, он может...

После обеда выписали Лукьяныча. Он сразу засуетился, с убитым видом разыскивал носки за тумбочкой, под койкой, снова и снова заворачивал свои пожитки в газету и потерянно твердил:

— Ну, вот, ну, вот...

Потом, увидев знакомого шофера с шахты, сразу успокоился, с минуту сидел на койке без движения, точно сомневался, хватит ли у него сил оставить больницу, поднялся, подошел к Ивану, положил ему на плечо руку.

— Ну, прощай, парень. Не залеживайся тут,— голос его звучал строго и торжественно.— Болячкам не поддавайся, ты молодой, тебе еще жить да жить. Жизнь хороша, когда мила...

Он перевел дух и добавил:

— А выйдешь отсюда — обязательно загляни ко мне. Встретим как полагается!

Он хитро сощурился и прищелкнул пальцами.

Сбитнев проводил его взглядом и снова улегся на койку.

Перед вечером в палату заглянул доктор. Как всегда, он безукоризненно выбрит, аккуратно причесан, ногти на пальцах подпилены, глянец на ботинках так и сверкает. Не успел войти, а уже смеется, радуется, будто увидел закадычного друга,— просто удивительно, как ему не надоест ублажать каждого.

— Ну, Сбитнев, скоро и с тобой расстанемся. Наверное, и не вспомнишь меня, когда выйдешь?

— Вспомню,— серьезно пообещал Иван.

Виктор Сергеевич опустился на стул...

— Не пойму я, доктор, чего ты стараешься,— с усмешкой заговорил Сбитнев.— Ну, разрезал, зашил, а

дальше уж не твоя забота. Пусть сами устраиваются. Чужие ведь...

Виктор Сергеевич плавно развел руками...

— Верно, чужие,— сказал он.— Только вы не люди вообще, а пациенты, крестники мои, что ли. Понимаешь? Как будто бы я их сам создал, вроде бы оживил. Ясно?.. Здесь, дорогой мой, штука тонкая, не так-то просто выбросить из головы, если бы и хотел.

Он опустил руки на колени и добавил:

— Так-то вот. Когда все ладится, и спишь спокойно.

Доктор взглянул на часы, поднялся и на прощанье сказал:

— Раза два перевяжем, а там и швы снимать. Пора!

Сбитнев отвернулся от двери и пожал плечами. Что-то доктор мудрит. Пациенты, крестники... Они хороши, пока в твоих руках, а на воле — поминай, как звали!

— Извините... можно к вам?

Сбитнев поднялся с постели. На пороге стояла Нина с желтыми цветами в руке, больничный халат колыхался вокруг ее обтянутых шелковыми чулками ног.

— А где отец?

— Выписали его. Домой уехал.

— Правда?

Она приподнялась на носки, зарылась носом в цветы и вдруг решительно двинулась к Сбитневу, протянула ему букет.

— Возьмите.

— Но...

— Берите, берите! Это мимозы.

Иван неловко сгреб тонкие прутики и зажал их в кулаке.

— Приходите когда-нибудь к отцу, он гостей любит. Мы живем на Заперевальной, знаете?

Девушка назвала улицу и номер дома.

— Хотите, запишу?

— Я запомню,— заверил Сбитнев.

— Вот и хорошо. Желаю поскорей выздороветь!

И она ушла.

Иван притянул букет к себе, перебирая пальцами желтые бубенчики, внимательно осмотрел со всех сто-

рон, понюхал,— пахнет. Цветы... Мимозы. Чудно! Цветы, будто девчонке.

Смешной народ, эти девчата, вечно возятся со всякой ерундой: то цветы у них, то конфеты, или там одеколоны разные. Мимозы... Зачем они ему? Что он — жених, что ли? Цветы, бульон — надо же... Ему бы картошки жареной, селедочки, да огурчиков соленых, ну и граммов двести для аппетита. Лучше «Московской». Черт знает, что за положение, водки, и той не выпьешь. Уж чего-чего, а ее-то он нахлестался вволю. Наверно, целую цистерну выдул, разов с тыщу закладывал, не меньше.

Он стал припоминать яркие случаи из этой тысячи и вдруг с удивлением обнаружил, что их было не так уж много. Повторялось только предвкушение удовольствия и веселья, а то особенное приподнятое настроение, ради которого и затевалась выпивка, действительно счастливые минуты, приходили всего три или четыре раза за всю жизнь: один раз в деревне, у тетки, в урожайный год, потом на выпускном вечере в ремесленном, да однажды с Марийкой. Но чаще водка не срабатывала, не оправдывала надежд и праздничного подъема не наступало. Как ни обидно, а ничего похожего на тот самый мед для души, о котором говорил Лукьяныч. Ничего!

Но что же тогда в его прошлом было для души, для сердца? Скандальная известность? Татуировки, карты, приятели? Или свои, растравляющие до слез песни? «Пятьсот километров тайга», к примеру, или вроде нее... Только-то? Маловато, пожалуй.

Он рассеянно повертел букет, зачем-то подул на него, опустил цветы бубенчиками книзу.

Мысли смущали, беспокоили, а палата пустовала, не с кем было и словом перекинуться, чтобы отвлечься.

VI

Второй день Иван с опаской ходил по комнате. Двигаться было еще трудновато, дрожали ноги, кружилась голова, но какое же это было удовольствие — держаться на собственных ногах, потихоньку, без посторонней

помощи путешествовать по палате, как интересно и смешно заново учиться ходить!

Утром он впервые рискнул отправиться в столовую и самостоятельно одолел длинный коридор. За столом Сбитнев приглядывался к необыкновенно вежливым больным в полосатых пижамах и даже познакомился с веселым армянином, который перенес тяжелую, с удалением ребер, операцию. Больные здесь сходились легко, как пассажиры в дороге. Да и сама больница чем-то напоминала вагон поезда, только побольше и поудобнее: лечение, питание, кнопки для вызова персонала, врачи...

Сбитневу нравилось стоять у окна и смотреть на улицу. Сверху виден больничный двор, дорога, приземистые фигуры прохожих, автомашина с красным крестом над кабиной. Греются в теплых лучах стволы деревьев, подсыхает последняя лужица... Земля еще темна и бесплодна, а солнце уже высокое, сильное, щедрое — весна! Вот и в палату пробралось, брызнуло на подоконник, и рука невольно тянется к нему, чтобы погладить живого, теплого зверька...

— Разгуливаешь?

Тетя Катя застала Сбитнева врасплох. Он проворно отдернул руку, сунул ее в карман пижамы.

Женщина выглянула в окно.

— Что там на улице? Теплынь?

Иван потянулся к тумбочке за цветами.

— Вот, возьми...

— Дочке? От жениха? — спросила она, улыбаясь.

— Зачем дочке? — обиделся Сбитнев.— Тебе!

— Ну спасибо.

Она сплела стебли в тугой жгут, легонько встряхнула букет и сказала:

— Скучно одному-то? Потерпи, скоро новенького подселят. Молоденький совсем... Третий час оперируют. Ножевые ранения. Бандиты порезали. Такие негодяи!

Тетя Катя оправила свежую постель на свободной койке, выпрямилась.

— Пойти узнать, как там у них...

Иван запахнул пижаму и, волоча стоптанные шлепанцы, поплелся к своей кровати.

День был воскресный, в коридоре скрипели ботин-

ками, боязливо стучались в соседние двери посетители, третий раз вызывали «на выход» какого-то Вощикова из одиннадцатой.

— Мам, а мам! — кричала где-то под окнами маленькая девочка.— А мне куклу купили! С глазками!

Дряблое, перевитое платком старушечье лицо просунулось в комнату, растерянно мигнуло глазами и скрылось.

«Точь-в-точь хозяйка! — подумалось Ивану.— То-то смеху было б, если бы она вдруг проявила внимание. Только где ей! Одна у нее забота — плату за жилье вперед!»

А в коридоре, забивая другие звуки, уже гремел низкий знакомый голос.

«Сенька-Гриб»! — сразу узнал Сбитнев.

— Вот ты где! — сказал Сенька, войдя в палату.— Салют!

Больничный халат болтался у него за спиной, голенища хромовых сапог подвернуты. Глаза у Сеньки шустрые, озорные, масленые — с утра он уже навеселе. И, как всегда, говорит и не смотрит в лицо.

— Да ты садись, чудак! Что я тебе, прокурор, что ли?

Сенька усадил Ивана на койку и оседлал верхом стул.

— Не ожидал, небось? А я вот пришел. Своих, между прочим, не забываем.

Он взял с тумбочки апельсин, стал очищать от кожуры. Так и не отыскав урну, Сенька высыпал изодранные шкурки прямо под тумбочку.

— Как же это ты, друг? Долго еще будешь валяться? Давай, выписывайся. Дело есть. Пора уже, верно?

Сбитнев смотрел, как исчезают у него во рту апельсиновые дольки, и молчал. Пора... Вот оно — «дело»! Иван давно уже ждал его, ждал и боялся. До сих пор он водился с компанией Сеньки вхолостую: вместе пил, слонялся по улицам, горланил песни, бузил, разок постоял на стреме, ну еще однажды вступился за своих, за что и полоснули как-то ножом. А вот теперь будут крестить всерьез. После уже не «завяжешь» — не пустят. Рановато вроде... И потом, зачем Сенька так громко говорит?..

— Значит, все решили без меня? — спросил Иван.

— А ты что, не желаешь? — насторожился Сенька.

Иван не ответил.

— Когда выходишь отсюда?

— Дня через три...

В палату залетела круглолицая девчонка, испуганно открыла рот и попятилась.

— Валяй к нам, дорогуша! Может, сторгуемся? — сказал ей Сенька, а когда она торопливо прихлопнула за собой дверь, весело крикнул: — Куда же вы, леди?

— Чего приуныл? — напустился он на Ивана.— Тошно здесь? Хочешь, развеселю?

Сенька вытащил из кармана бутылку, шлепнул по донышку, плеснул водку в стакан, потянулся за вторым, немытым.

Тетю Катю они заметили слишком поздно. Бутылку Сенька успел спрятать в карман, а стаканы остались на стуле. Тетя Катя деловито взяла их, прижала одной рукой к груди, вторую протянула к Сеньке.

— Давай сюда. Только быстро!

— Чего тебе? — удивился Семен.— Ты что, мамаша?

— Водку давай!

— Да ты не шуми! Какую водку? Что я, не понимаю, что нельзя?

— Ту самую. Быстро! И без разговоров, пока не вывели.

— И чего ты прицепилась? За твои пью, что ли? Не буду, сказал — не буду!

— Да ты уже никак наклюкался? — удивилась тетя Катя и, зайдя с тыла, грозно двинулась на Сеньку.— Уходи! Уходи сейчас же!

— Только без эмоций! — раздраженно заговорил Сенька, поднялся и сплюнул.— Ну и свекруха! Как ты ее терпишь? Хуже крючка, ей-богу!

— Уходите!

— Иду, иду. Не шуми. Вредно расстраиваться.

Уже у двери он обернулся и подмигнул Ивану:

— Я еще вернусь! Не унывай, родной, не унывай!

Иван наклонился, чтобы собрать с пола кожуру

апельсина, но в животе что-то екнуло. Он выпрямился, махнул рукой и осторожно улегся на койку.

За стеной заливисто смеялись, на улице, под окнами, маленькая девочка все еще прощалась с матерью.

VII

Вскоре его снова потянуло к окну. Все так же неторопливо брели по дороге прохожие, подсыхала на солнце сырая нехоженая земля. Ровные, как парашютные стропы, нацеленные в небо ветки деревьев сиротливо чернели, а лозы акаций уже подернулись салатными дымками, сухие чешуйчатые почки раскрылись, выпустили на свет нежный цыплячий пушок. Пока Иван валялся на койке, природа ожила, проснулась, чьи-то озябшие души отогрела весна. Он еще будет томиться в палате, а на дворе проклюнется трава, за ночь ветер начисто выметет из города прелые зимние запахи, раскинется вширь небесная просинь, и Сбитневу достанется на одно чудо меньше. А выпишется — опять будет водка, Сенька, дружки... И «дело». Так решил Сенька. А его даже не спросили. Чего спрашивать? И так ясно. Да, обошлись без него... А зря. Надо же ему хоть что-то решить самому! Напрасно не спросили. Придется так и сказать...

Иван тяжело вздохнул, зачем-то ощупал радиатор, поплелся к двери и тут же невольно отпрянул: прямо на него катилась высокая тележка с чьим-то обернутым в белое телом.

Санитарки завезли новичка, молодого парня, в палату, уложили на койку, укрыли по плечи простыней. Жесткие волосы раненого слиплись, подбородок уперся в грудь. Не открывая глаз, не приходя в сознание, он шумно и глубоко дышал, при каждом вздохе высоко вздымая простыню.

Возле парня хлопотала медсестра, тошнотворно-удушливый запах эфира подступал к горлу. Иван, присмирев, сидел на койке и следил за новеньким. У Сбитнева было такое чувство, будто однажды он уже встречался с этим человеком. Конечно, парень сейчас очень изменился, осунулся и все-таки сильно смахивает на артиста, который когда-то вел концерт в клубе. Остро-

умный и находчивый, он очень понравился зрителям, в тот раз он даже галерке пришелся по вкусу. А после Иван видел его под руку с девушкой на одной из окраинных городских улиц, помнит его походку, желтые полуботинки, помнит и каких-то дворовых кумушек, которые разом умолкли при виде разнаряженной пары. А теперь парень лежит без памяти...

«Это не наши состряпали,— успокаивал себя Сбитнев.— Иначе Сенька поостерегся бы разгуливать. Нет, не наши. Но ведь могли бы и они... В этот раз не наши, а в следующий...»

Вот новичок замер. Дышал, раскрывая рот, изредка вздрагивая, но неожиданно застыл и притаился. Прибежал доктор, принесли кислородную подушку, инструменты, но парень не шевелился. Подбородок у него задрался кверху, простыня больше не вздымалась. И все это на глазах у Ивана...

Сбитнев поднялся с постели, постоял, но опуститься на нее снова не решился — от непривычного соседства было жутко, и казалось, будто покойник исподтишка следит за тобой. Этот человек уже никогда не выйдет на сцену, не улыбнется, не поведет об руку стыдливую девчонку, и ни одна пожилая женщина больше не позавидует молодым...

Иван выбрался в коридор, подождал тетю Катю и обеспокоенно спросил:

— А как же с ним?..

Влажные, красноватые глаза женщины сердито замигали.

— Скоро увезут,— пообещала она.

Но его долго не увозили. Дважды пробили часы, потянулись в столовую больные, с ведром и щеткой обошла палаты санитарка, но так и не заглянула в четвертую.

Угнетенный, расстроенный, Сбитнев понурил голову, устало опустился на стул и вдруг увидел Марийку, бумажный сверток в ее руках, знакомую вязаную шапочку на макушке.

— Ты уже ходишь? — издали обрадовалась она.

Он смотрел на ее счастливое лицо, ликующе-зеленые глаза, маленькие пухлые губы и чувствовал, как все его беспокойство, внутренняя тревога и сомнения постепенно отступают и меркнут.

Встревоженная его молчанием, Марийка заглянула Ивану в глаза и виновато объяснила:

— Раньше прийти не смогла...

— Ты вот что,— заторопился он.— Отвези мои вещи к себе. Хозяйка тебя знает, отдаст. Надумал к тебе перебраться... Ты не против?

— Но, может быть, после? Выздоровеешь и...

— Нет, нет! Сейчас. Очень прошу! За комнату я рассчитался.

— Ладно,— сказала она серьезно.

Юлька

Уж и не знаю, отчего у нас с Юлькой складывались такие неопределенные, такие неустойчивые отношения. Мы познакомились давно, дружили крепко, а вот ладить между собой не научились. Трудно мне приходилось с ней, никогда, бывало, не знаешь, чего от нее дождешься, какой очередной выговор заслужишь. Принес я ей как-то букет цветов, сунул в руки, а ей не понравилось. Зачем, говорит, покупать целый веник, куда приятней один — два цветка. В другой раз, поджидая Юльку,— она, как всегда, опаздывала,— я с беспокойством поглядывал на часы, нервничал и нечаянно оборвал все лепестки единственной георгины. Прибежала Юлька, увидела у моих ног жалкие лоскутки и вдруг, не стесняясь прохожих, горячо обняла меня.

Ну, да это мелочи, пустяки. А случались размолвки и посерьезней. Особенно доставалось мне, когда речь заходила об искусстве. И все потому, что Юлька чересчур увлекалась серьезной музыкой. Неизвестно, в семье ли ее заразили, или в лектории, а может, такой у нее был склад души, но приехала она к нам из Москвы уже навсегда покоренной всевозможными сонатами и симфониями. Частенько она рыскала по магазинам в поисках новых пластинок, не пропускала ни одного серьезного концерта, а по вечерам, подперев щеку, долгие часы просиживала у радиоприемника.

Я бы охотно смирился с Юлькиным увлечением, если б не ее вечный воинственный задор. Ей было мало собственного помешательства, она всячески старалась обратить в свою веру и других. Она упорно просвещала меня, втолковывала непонятное, почти насильно та-

щила в филармонию или изводила упреками. Изредка она теряла терпение и прекращала атаки, ненадолго оставляла меня в покое, решив, что насильно ничего не привьешь, а затем с удвоенным рвением снова напускалась на мою бедную голову.

— Бирюки! Медведи! — гневно восклицала она.— Обросли коркой, погрязли во тьме — и рады! Провинциалы несчастные...

Я сердился, мы начинали ссориться, но Юлька не сдавалась:

— Да пойми же, глупый, я тебе лучшего желаю. Не в том беда, что не знаешь, не разбираешься, а в том, что не хочешь знать!

Уж такой она была, эта Юлька, неугомонная, жадная к жизни, с неистребимым любопытством в крови. Работала она рядовым конструктором, а вела себя так, будто ее наделили верховной властью. Ее тянуло все переделать по-своему, во все вмешаться. Будь ее воля, Юлька и наш город перестроила бы по-иному, возвела бы на его улицах стеклянные здания, залила светом, окутала зеленью, а каждому жителю вменила в обязанность улыбаться. За свои двадцать пять лет Юлька успела узнать и увидеть столько, что рядом с ней я чувствовал себя зеленым юнцом. Она побывала на Севере и на Байкале, увлекалась подводным плаваньем и умела взбираться на отвесные скалы, знала чертову уйму грибов и разбиралась в архитектуре не хуже ученого профессора. Одевалась она просто, со вкусом, едко высмеивала мое уродливое произношение и по приезде к нам сначала обзавелась не кухонной утварью, а превосходной парой лыж.

Помню, как поразили меня ее слезы на одном из концертов. Обомлев, я смотрел на Юльку, а она нахмурилась и дрожащим голосом сказала:

— Чего глядишь? Ну что мне с тобой делать, кочерыжка ты черствая?

Она была по-своему права. Но что я мог изменить, если музыка не трогала, не волновала меня, если я, как ни старался, так и не находил в ней ничего интересного? Да и можно ли ссориться из-за каких-то несчастных фантазий?

Даже мои друзья заметили наши нелады и стали подшучивать надо мной: смотри, говорят, Сергей, бу-

дешь под каблуком ходить, еще не жена, дескать, а что вытворяет...

Я, конечно, не обращаю внимания, виду не подаю, хотя на душе неуютно, невесело. Решаю не ходить к Юльке, несколько дней выдерживаю характер, а потом лечу к ней со всех ног. Она как раз пластинку свою любимую проигрывает, концерт для фортепьяно с оркестром, место еще в нем есть такое бравурное, торжественное, будто колокола трезвонят. Увидит Юлька меня, приложит палец к губам — молчи, мол! — и мои горячие, заранее приготовленные слова застревают в горле. А я и рад: уже и то хорошо, что не ссоримся. Неслышно присяду в сторонке, гляжу и помалкиваю. Я любил смотреть на Юльку, когда она сидела вот так, нахохлившись, по-кошачьи поджав под себя ноги, с недоступным и строгим лицом, а по ее волосам, по щеке и плечу струились теплые ручейки света.

Настала зима. В декабре мы не виделись с Юлькой больше недели. Близился конец года, а у нас на монтажном участке накопились незаконченные работы. А тут еще прибавился второй заводской водовод. Старую нитку останавливали на ремонт, нужно было срочно сдать в эксплуатацию новую, уложенную летом. Знаете, как бывает: не спешим, тянем, откладываем, пока не приспичит. И тогда вдруг окажется, что в одном месте не поставили бетонный упор, где-то забыли затянуть фланец.

Почти двое суток мы проторчали в траншеях. Шел снег, срывалась игольчатая крупа, морозило, а мы копошились внизу, проверяли колодцы и задвижки, заделывали стыки, да изредка бегали греться к мангалкам — загруженным раскаленным коксом бочкам из-под карбида, приспособленным под очаги. Особенно эффектно выглядели наши мангалки ночью: кроваво-красные, окутанные пасмами дыма, ворчливые, будто колдуньи.

На третий день мы начали опрессовывать водовод, испытывать его давлением, но линия внезапно дала течь. Случилось самое неприятное: наполнить водой этакую махину, долгие часы накачивать прессом и — напрасно. И сразу на душе стало скверно. Как обычно, проклинаешь неполадки, с тоской и завистью вспоми-

наешь уютное жилье, праздную публику на улицах, развлечения.

Пришлось снова спускаться в траншеи, до вечера копаться возле труб, ощупывать каждый запотевший стык. Хорошо еще, что я валенки надел: ногам было тепло, как в печке. Ляжешь прямо на снег, утонешь в сугробе, неуклюжий, неповоротливый в стеганых одеждах, шаришь в темноте руками, обжигая пальцы о железо, а усталость берет свое, клонит в сон, нет-нет да и забудешься ненадолго. В считанные минуты то Юлькино лицо привидится, то вдруг очутишься на корабле и поплывешь в открытое море, то музыка пригрезится наяву, та самая, непонятная, бравурная. И приснится же такое!

Уже и главный инженер к нам приехал, тянет руки к мангалке, ждет, когда же мы, наконец, управимся, а мы все еще не поднимаемся из траншеи.

Лишь поздней ночью мы снова пустили воду и подключили пресс. Обтерев руки снегом, я подошел к начальству.

— Ну, мастер,— сказал главный инженер, испытующе взглянув на меня, и в его голосе мне послышалась и надежда, и предостережение.

— Да, Викентий Петрович,— решительно ответил я.— На этот раз да.

Нам оставалось только ждать. Гудело и бесновалось пламя в бочке, таял и темнел под нею снег, шипели, испуская пар, брезентовые рукавицы ребят. На случай удачи кто-то принес бутылку «Московской» и водрузил ее на штабель кирпича. «Раскокаю, если опять не повезет»,— сердито подумал я, косясь на нее.

Мерно постукивал пресс, медленно приближалась стрелка к заветному делению. Вот уже и за шесть атмосфер перевалила, миновала цифру восемь, обошла девятку... Вот она остановилась на десяти, и стало слышно, как злобно гудит у наших ног пламя, как за моей спиной прерывисто дышат люди.

Пресс затих, стрелка остановилась. Если теперь ее потянет назад, если начнет сбавлять показания — все пропало. Но стрелка держалась, держалась минуту, другую. Пять минут... восемь... одиннадцать...

Позади меня шумно вздохнули, засмеялись, ожив-

ленно заговорили, а я, как завороженный, не сводил глаз с манометра.

— Поцелуемся,— вдруг сказал обычно сдержанный главный инженер и троекратно облобызал меня.

И только тогда отлегло от сердца. Плохого настроения как не бывало, лишь теперь я почувствовал, до чего это здорово — справиться с трудной работой, одолеть ее, до чего хорошо ощущать безмерную усталость и радоваться победе.

Несмотря на утомление, водка так и не подействовала на меня. Хотелось только одного — спать. Спать и спать, во что бы то ни стало спать...

Обессиленный, безучастный ко всему, я медленно побрел домой, но по пути сделал порядочный крюк и подошел к Юлькиному дому. Знакомое окно было темным, слепым. «Оказывается, и вы не на высоте,— огорченно подумал я.— Когда надо, вас нету».

Зато в моей комнате сияли огни. Может быть, я сам забыл погасить их, а, возможно, ко мне опять приехала мамаша и теперь хозяйничает в моих владениях.

Но я ошибся. Вместе с полоской света из-под двери моей комнаты просачивались наружу звуки концерта. И только тут я неожиданно понял, какими желанными, прямо-таки до зарезу необходимыми были они для меня, какое это счастье — войти с мороза в затопленный желтым сиянием дом, войти усталым, но довольным собой, до чего нужны мне и зима, и Юлька, и ее увлечение.

С минуту я постоял в коридоре, затем тихонько приотворил дверь.

— Наконец-то! — выпалила Юлька, обвивая руками мою шею.— Вредный, даже не предупредил. Как я тебя ждала!

— Тихо,— прошептал я.

Не разжимая рук, она удивленно посмотрела на меня.

— Музыка,— объяснил я.— Слышишь? Музыка.

Последнее танго

Саксофон заблудился. Танцевальный ритм на той же ноте неожиданно замедлялся и угасал, саксофон неуверенно, будто в потемках, вел мелодию куда-то наугад, отыскивая дорогу и, наконец, нащупав привычные такты, вдруг старательно завершал музыкальную фразу.

Пластинку проигрывали снова и снова, но танцевать не уставали. Разгоряченные, чуточку навеселе, сотрудники будто забывали об усталости, о том, что всего час назад окончился рабочий день, а впереди еще обычные домашние хлопоты. Вспотев от усердия, старательно переставлял ноги нормировщик Борис, по кругу плавно и легко шла Шура в паре с подругой, бодро топтались, вздымая пыль чужие, незнакомые девушки — без них, страстных городских любителей танцев, как всегда, не обошлось.

Не танцевал только Николай Тимченко. Не раз он порывался пригласить Шуру, но вечер уже заканчивался, а Николай все еще медлил. То музыка представлялась ему слишком бурной и стремительной, то не хотелось выходить в круг первому, а чуть позже Шура уже танцевала с кем-либо, то боялся, что она откажет, и он, уже немолодой, тридцатипятилетний, очутится в смешном и глупом положении.

В своем выходном костюме на виду у всех он чувствовал себя чуточку связанно: пиджак почему-то тяжело давил на плечи, галстук впивался в шею, а руки было некуда девать; стоило забыть о них, как они сами собой сгибались в локтях, кисти назойливо замирали перед грудью, точно кулаки у боксера.

Так он и стоял в стороне, возле сдвинутых столов,

смотрел на танцующих, украдкой отыскивал взглядом Шуру и тотчас же отворачивался — ее шелковая ярко-голубая кофточка слепила глаза.

Когда саксофон заныл снова, Николай не выдержал, ни на кого не глядя выбрался из зала, полез в карман за папиросой. Но и в коридоре он был лишним. Завидев его, парень у окна резко отстранился от девушки, недовольно и выжидающе уставился на Николая. Николай повернулся к нему спиной, несколько раз подряд затянулся, выбросил папиросу и, распахнув первую же дверь, вошел в комнату.

В комнате стояла полутьма. Изредка по стене бесшумно скользили лучи автомобильных фар, и тогда резко шарахались, будто оживали тени неуклюжих чертежных комбайнов, а небо на перспективном рисунке здания делалось неправдоподобно зеленым.

Стол Кравцова, заваленный трубками ватмана, чертежными кальками, стол Шуры... Даже и сейчас, в ее отсутствие над столом все еще витал тонкий аромат конфет. От нее почему-то всегда пахнет кондитерской и шоколадом...

Николай постоял возле ее стола, провел ладонью по спинке стула, точно погладил его, неслышно прошел мимо и распахнул форточку. Сырой, напоенный туманом воздух не принес успокоения.

Снаружи, из коридора кто-то распахнул дверь, и прежде чем Николай обернулся, прежде чем увидел и услыхал звук или шорох одежды, он каким-то подсознательным чутьем и горячим теплом где-то у сердца понял: в дверях стояла Шура. Чтобы не испугать ее, он негромко кашлянул, а затем уже повернулся к ней лицом.

Ее невысокая фигурка на секунду задержалась в дверях, застыла в них, точно в раме. Николай увидел только темное очертание ее тела, да молочно-белую дорожку света; гибкая, искристая полоса плавно спускалась по ее левому плечу к талии.

— Вот вы где,— негромко проговорила она, вышла из рамы и включила свет.— Мечтаете? Интересно, о чем?

— А вы разве не знаете?

— Откуда мне знать?

Она остановилась возле него. Ее глаза, серые, вдум-

чивые, спокойные, снова спрятались в тени, и опять Николай ощутил знакомый запах кондитерской.

— Что вы смотрите? — спохватилась она, оборачиваясь к Николаю.

— Вы так близко от меня, что... дух захватывает,— объяснил он, задерживая свое слишком частое дыхание.

Шура промолчала. Так он и не мог понять, что она думает, что чувствует, как относится к его словам.

— Потанцевать-то придете?

— Не знаю...— Ответ Николая был похож скорее на робкий невысказанный вопрос: «А стоит ли?»

— Приходите. Потанцуем.

— Шура! — вдруг решительно и серьезно заторопился он,— мне надо сказать вам... кое-что.

— Говорите.

— Хотя... нет. Ладно, когда-нибудь...

— Ну вот, вы всегда так. Начнете, и — «когда-нибудь»,— Шура забарабанила пальцами по столу.— Что ж, как хотите.

Она пожала плечами и неохотно, будто с ленцой, пошла к выходу.

Шура вышла, а Николай еще долго смотрел на блеклый прямоугольник проема и место, где недавно стояла она.

В зале все еще танцевали. Особенно старался Борис. Вдвоем со своей партнершей, в своих модных коротких брючках, будто взятых напрокат у меньшего брата, он танцевал сложно, вычурно, останавливаясь и замирая на миг в самых неожиданных позах. Сотрудники уходили с круга, присаживались в стороне и смотрели на его причуды терпеливо, с молчаливым осуждением.

Еще с порога Николай увидел Шуру, ее высветленные солнцем волосы с колечками летней завивки, лицо, вернее, улыбку на нем, приветливую, дружескую, может быть предназначенную ему. На мгновение ему показалось, будто она догадывается о его чувствах, а может, даже разделяет их, ждет от него решительных действий. Ненадолго он почувствовал себя уверенным, смелым и, чтобы не передумать, решительно подошел к ней и пригласил танцевать.

Он вел ее бережно, боясь придвинуться слишком

близко, поглядывая на ее открытый лоб, с волнением отмечая, как свободно умещается она под его локтем.

Николай любил танго. Ему нравилось в танце широкое, напевное звучание оркестра, в музыке ему чудилась чья-то невысказанная нежность, чья-то светлая грусть, в ней точно сплетались неясные мотивы безбрежного счастья и душевной печали. Слушая музыку, украдкой вдыхая запах конфет, он проходил по залу круг за кругом и только позже спохватился: надо ж было, наконец, решиться и как-то начать, ведь кто знает, повторится ли когда-нибудь такой удобный случай.

— Вот и сбылась мечта — потанцевать с вами,— сдавленно проговорил он, не глядя на девушку.

— Правда? — в ее голосе ему почудилась скрытая насмешка.

— Вам все шуточки,— с горечью продолжал он, выставляя руку за ее спиной, чтобы уберечь ее от толчков,— вы можете говорить серьезно?

— Могу.

Она подняла голову и посмотрела ему в глаза. От ее взгляда он вдруг сбился с ритма, они ненадолго остановились и не сразу пошли по кругу, снова вливаясь в общий поток.

— Вам когда-нибудь объяснялись в чувствах?

— Нет...

— Неправда, Шура!

— Ах, какое это имеет значение! — тряхнула головой она, подлаживаясь под его шаги.

— Я хотел сказать, что вы... что я... Ну, в общем...

— А, в общем, танец кончился,— прервала его Шура, отстраняясь и выскальзывая из-под его руки.

Николай растерянно оглянулся.

Музыка смолкла, пары отходили к стульям, установленным вдоль стены, и только они с Шурой все еще стояли в кругу.

— Спасибо, Шура,— запоздало поблагодарил он ее и тоскливо посмотрел ей вслед — нет, во второй раз ему ни за что не решиться.

Уже у самых дверей он остановился, снова разыскал Шуру, поднял руку и слабо пошевелил пальцами; жест получился невыразительный, невнятный, будто прощание украдкой.

Шура согласно кивнула, точно отпуская его, вдали

в последний раз полыхнула голубым огнем ее кофточка. Николай сбежал по лестнице, сунув руки в рукава пальто, вышел на улицу и только там начал застегивать пуговицы.

Шел холодный осенний дождь вперемежку со снегом. Темные фигуры прохожих, горбясь, обходили стороной широкие лужи на асфальте. Колючие брызги хлестали по лицу, брюки у щиколоток отяжелели и липли к ногам, а Николай все шагал, не разбирая дороги, не отворачиваясь и ничего не замечая.

Дома ему долго не открывали. Минут через пять дверь распахнула жена. Сонная, она хмуро взглянула куда-то в сторону, поверх его плеча, равнодушно отвернулась, сонно покачиваясь на ходу, прошла к кровати и снова легла.

«Хоть бы приревновала, что ли!» — с неприязнью подумал он, переодеваясь.

Накинув на плечи пижаму, он сунул в карман папиросы и, погасив свет, отправился на кухню.

Есть не хотелось. Суп в кастрюле затянуло застывшей корочкой жира, котлеты побелели, точно покрылись инеем. И так всегда: холодный ужин, заспанное лицо... А как она любила ворчать по пустякам, как умела отыскивать только дурное и неприятное решительно во всем на свете!

Николай развернул газету, пытался вчитаться в текст, но буквы плыли перед глазами, а тоскливые, беспокойные мысли снова наваливались на него.

Зачем он здесь? Почему каждый день, словно отбывая тяжкую повинность, вынужден возвращаться домой, к жене, которую он не любит давно, почему никак не решится изменить, наладить свою жизнь, отчего приклеился к ней, точно муха к липучке.

Сколько раз вызывал ее на откровение, пробовал объясниться с ней, но, увидев в ее глазах слезы, сейчас же сдавался, опять целовал ее постылые, пропахшие кремом губы, лгал ей и сам себя ненавидел за ложь?

Сколько раз пытался разрешить мучительный вопрос: имеет ли право (как будто на чувства даются права!), и повсюду — в книгах, мнениях сослуживцев, в отголосках своей совести ему чудилось неумолимое и гулкое, как набат, эхо: «До-олг! До-олг!» Кто-то тяжелый, литой и незыблемый становился поперек дороги и

глухим бесцветным голосом изрекал скрипучие истины: «Нечестно... Ты не должен... Чужая любовь не согреет...»

И он жил из приличия и жалости, все острее чувствуя себя на положении преступника, осужденного к долгосрочному сожительству.

Только на работе Николай успокаивался.

Ему нравилась профессия геодезиста. Его манили просторы и встречи, он любил поездки в автобусах, куда частенько не хотели впускать с мерной рейкой, или в кузове попутной машины, где так основательно трясло. Любил новые места, чужие дворики, овраги, любил шагать по заброшенным, заросшим травой пустырям, с трудом переставляя уставшие ноги, и спать под открытым небом. Отправляясь на съемку участка или трассы, он всегда испытывал какое-то облегчение и с особой тщательностью готовил в дорогу карты, рулетки, металлические штыри. Уставая за день, никогда не выражал неудовольствия и не жаловался даже зимой, когда дубели руки на ветру, а щеки трескались от мороза. Сухощавый, в армейских сапогах и галифе, он неутомимо перетаскивал привинченный к треноге теодолит, устанавливал его по уровню на новом месте, прищурив один глаз, прикладывался к голубоватому стеклышку, точно нацеливался для стрельбы.

Подсобники понимали его без слов. Легкое движение большого пальца — и полосатая, перевернутая вверх ногами рейка с делениями и цифрами переносится вглубь, отодвигается влево, вправо, поднимается выше. Все продумано, распределено, всему свое место. За голенищем у Николая тахиметрический журнал, за ухом карандаш, в кармане девичье зеркальце, чтоб освещать дно колодца солнечным зайчиком.

Там, на участке, он сам себе казался значительней, мнил себя чуть ли не смелым разведчиком или отважным путешественником,— ведь, как-никак, а геодезисты приходят на строительный участок первыми.

Лет с тридцати он уже считал себя стариком, искренне верил, что самое главное, лучшее в его жизни — молодость, любовь, дерзания — ушло или безвозвратно упущено и больше ни на что не рассчитывал. Все чаще он утешал себя спасительной ложью: а, может, так и надо, так лучше? Может, настоящее большое чувст-

во — только мечта, недосягаемая, созданная людской фантазией иллюзия, призрак, мираж, выдуманный поэтами? Если так, то лучше синица, чем журавль в небе. Семья у него хоть какая-то, да есть, есть работа...

И вдруг — Шура.

Пожалуй, теперь и не упомнишь, не разберешься как следует, когда же все началось.

Шура принесла в контору песню. До нее песни не знали и первые дни к ней, светловолосой девчушке, только-только из техникума, бегали переписывать слова, наклоняясь к ней, вполголоса напевали, разучивая мотив.

Сначала Николай просто не обратил на нее внимания. Отметил про себя, что Шура — слишком худощава и тщедушна, что зубы у нее острые, частые, как у белки, отметил и тут же забыл об этом.

В другой раз он увидел легкую гримаску неудовольствия на ее лице: маленькие губы то вдруг недоуменно выпячивались, то брезгливо морщились без всякого, как казалось, повода. Он даже решил было, что Шура — девушка капризная, избалованная, и только позже понял, что все это у нее напускное, что под забавным выражением лица она прячет свою неловкость, неуверенность на людях, за общей фразой или шуткой пытается скрыть то, к чему не было доступа посторонним.

Первые дни он равнодушно здоровался с ней, учтиво перебрасывался несколькими фразами или объяснял ей непонятное по работе, изредка делился мнением о фильмах, общих знакомых, обсуждал конторские происшествия. Николая немного удивили ее здравые суждения. Она из простой рабочей семьи, чуточку резковата и прямолинейна, не так уж много читала, ее жизненный опыт невелик, а взгляды и принципы у нее глубокие, серьезные, цельные, такие, что позавидовал бы каждый. Откуда они у нее?

Только года через два, уже основательно привыкнув к Шуре, Николай вдруг почувствовал неладное. Случилось так, что он надолго задержался в командировке из-за дождей и вот там-то впервые затосковал о ней, не о жене, не о доме или сотрудниках, а о ней, чужой для него девушке, почти на голову ниже его и намного моложе.

Николай пытался переубедить себя, пробовал изба-

виться от необычного ощущения, но перед ним неожиданно всплывало ее лицо и походка, желание увидеться с ней порой становилось таким неодолимым, что он пугался, закрывал глаза, как бы отгоняя видение, но через минуту мысленно называл ее уменьшительными «Шурик», «Шуренок», а по приезде не смог выдавить из себя ничего путного, кроме бесстрастного и пустого «здравствуйте».

Через день — два он успокоился, приступ как будто бы миновал, и Николай уже начал посмеиваться над своими страхами, но вскоре девушка заболела. И снова ему сделалось тоскливо и неуютно, он ходил по конторе вялый, растерянный, работа у него не клеилась, он часто украдкой поглядывал в сторону ее стола и обрадовался ее выздоровлению гораздо больше других.

Тайком он стал следить за Шурой. Николая начало интересовать все: и как она причесывается, и как садится, расправляя и придерживая юбку, и почему никогда не пудрится.

Оказывается, за своей внешностью она не следила с излишним вниманием, как другие. Придет утром, причешется, оправит платье, посмотрится в зеркало и больше уже за весь день о себе и не вспомнит, точно мальчишка, которому нет никакого дела до того, как он выглядит. А однажды ее буквально преобразил новый, белый воротничок к знакомому платью. Всего только свежий воротничок, а как он осветил ее лицо с небольшим, будто слегка приплюснутым носом, выделил ее прическу, обновил платье!

Открытие томило его, он пробовал было заговорить о нем с другими мужчинами, но понимания, к своему удивлению, не встретил. Одни вяло и равнодушно поддакивали ему, другие цинично советовали приволокнуться за ней, третьи удивленно пожимали плечами:

— Разве? Не замечал.

Странно только, почему молодые парни упорно сторонятся ее, и женятся только на капризных, недалеких и чванливых барышнях, ведь она больше чем кто-нибудь заслуживает счастья. Николай удивлялся, но и радовался этому, хотя сам все еще ни на что не решался.

Он будто помолодел за последние месяцы.

Снова, после долгих лет, Николай принимал близко к сердцу чужую судьбу или фильм, восторгался ме-ло-

дичной песней или богатством красок в пейзаже; к нему снова возвращалась былая, угаснувшая было страстность, интерес, дни вновь сделались полнее и ярче.

Его состояние стало походить на безумие: изо дня в день помнить о ней, ждать случайной встречи в коридоре или на лестнице, чтобы брякнуть какие-нибудь ненужные слова, задержать ее, глупея от радости, постоять рядом, украдкой рассматривать ее волосы или руки, самые обыкновенные, как у тысяч других, чуть загоревшие, покрытые золотистыми ворсинками, тонкие и женственные у запястий.

И с каждым днем все болезненнее становилось сознание того, что подле него — молодая девушка с еще необцелованными губами, что она пока что свободна и вольна, как птица, но что не сегодня — завтра найдется какой-нибудь юнец, уведет ее и она затеряется, уйдет из жизни Николая, чтобы никогда к нему не вернуться. Увидев ее накануне с каким-нибудь парнем, наутро он ревниво подшучивал над ней, втайне надеясь, что его подозрение не оправдается.

— Что вы, Коля! — отнекивалась она, врастяжку, с ударением на последнем слоге произнося его имя; он видел по ее лицу, что девушка говорит правду, и ликовал в душе.

Он был уверен, что его необычное состояние слишком заметно для каждого, что посторонние все видят и обо всем догадываются.

Больше всего он боялся показаться смешным. Что, если она поднимет его на смех? Ведь Николай слишком стар для Шуры, кроме того, у него семья. Поймет ли она его, а если поймет, поверит ли, что она для него — не увлечение, не слабость, не одна тоска по молодости, а нечто большее, настоящее, искреннее? Слова, уверения неизбежно будут казаться пошлыми, фальшивыми там, где нужно довериться чувству.

А время идет. Кажется совсем недавно ходил в школу, а уже тридцать пять, позади детство, война, институт, завтра проснешься — и не только любовь, а уже вся жизнь позади. Вот и сегодняшний вечер тоже прошел впустую, зря, так ничего и не изменив в его судьбе...

Николай размял и выбросил папиросу, вернулся в

комнату, прилег на диван и скоро забылся в беспокойном сне.

К утру подморозило. Лужицы затянуло хрупкой, похожей на битое стекло коркой, игольчатая снежная крупа с шуршаньем осенней листвы осыпалась на землю и скоро перешла в чистый и легкий снег; мягкий и рыхлый, он опускался ровно и покойно, прилежно скрадывая тусклые, грязновато-серые тона.

Первый снег всегда радует, и Николаю хотелось беспричинно смеяться или, придерживая пальто, лихо прокатиться на ногах по скользкому асфальту, он чувствовал себя, как в детстве перед праздником. Он шел и думал о Шуре, о том, что сейчас она тоже где-то идет по улице, спешит на работу и радуется снегу, а он тает у нее на щеках... Когда-нибудь они будут ходить вместе, радоваться сообща, жить в одной квартире. Вот Шура уже на правах хозяйки хлопочет в его комнате, улыбается ему, вот, вытянув обнаженные руки, загорает на пляже, а возле нее пыхтит и роется в песке маленький мальчонка, ее сын, их сын...

Вчерашние страхи исчезли. Не нужно только ничего усложнять, не нужно медлить и мучиться, надо во что бы то ни стало сегодня же признаться ей. Главное — побольше энергии и решимости, а там видно будет.

Николай смотрел на оживленные, будто помолодевшие лица прохожих, гладкие, укатанные шинами дорожки, уютную чистоту на крышах и оградах, обдумывал, с чего начнет, старался предугадать ее ответы и готовился к ним. Он знал по опыту, что в разговоре все изменится и даже он сам будет говорить не так и не о том, и все-таки тщательно готовился к объяснению.

У крыльца конторы он остановился и стал ждать Шуру, здороваясь с сотрудниками. Мужчины подходили к нему, закуривали, говорили о погоде, вчерашнем вечере, женщины слишком горячо охали и обнимались друг с другом, точно родственники после разлуки.

Шура долго не показывалась. Только перед самым звонком она подошла вместе с подругой и торопливо поднялась по ступенькам. Лицо у нее было озабоченное, хмурое, она прошла мимо, не заметив Николая, и он так и не решился ее затронуть.

А потом нужно было идти согласовывать отвод земельного участка. Николай долго рылся в столе, поглядывая на часы, затем неохотно свернул чертеж трубочкой, медленно спустился по лестнице и вышел на улицу.

Снег все еще падал, и дворники сердито чертыхались, широкими лопатами сгребая его на край тротуара.

Николай вошел в подъезд большого серого дома, медленно, все больше сутулясь, поднялся на второй этаж, вошел в комнату и, лишь увидев незнакомые лица и совсем не так расставленные столы и стулья, понял, что ошибся дверью. «Отдел громоотводов»,— прочел он на табличке, выйдя из комнаты, и усмехнулся — оказывается, есть и такой.

Покончив с делами, он вышел на улицу и долго шел, глядя себе под ноги, пока не наткнулся на будку телефона-автомата. С минуту он недоуменно смотрел на нее, потом обрадовался и решительно распахнул дверцу.

В будке было холодней, чем на улице, в щели задувал ветер. Николай не знал, что скажет ей, что объяснит, теперь уже у него не было никаких планов, просто поднял трубку, набрал номер и терпеливо ждал.

Далеко, очень далеко, словно непогода глушила ее голос, Шура вопросительно отозвалась:

— Да?

Николай только крепче прижал трубку к уху и, затаив дыхание, молчал.

— Да! Я слушаю!

В трубке замолчали, а затем уже громче, с раздражением проговорили:

— Я слушаю! — и, чуть тише, для себя: — Что за ерунда? Неисправен, что ли?

Николай молча прислонился к стене, закрыл глаза, и ему вдруг почудилась вчерашняя мелодия, явственно послышались звуки оркестра, тугие плавные волны музыки.

— Да! — еще раз выкрикнули там, далеко, помолчали, вздохнули и повесили трубку.

Он повертел свою трубку в руках, зачем-то подул на нее и осторожно повесил на рычаг. Не сразу он заметил чей-то ожидающий взгляд за стеклом кабины, а, увидев, поспешно вышел и извинился перед двумя де-

вушками. Шагах в трех от будки он услышал их негромкий смех.

«Это надо мной,— сообразил он и еще больше сгорбился, как-то сразу постарел.— Молодые, я для них смешон. И для Шуры тоже... Да и что хорошего я принесу ей? Так, одни неприятности. С моим характером ничего не выйдет. Ничего. Поздно... Ты уже слишком стар для них. Последняя вспышка чувства, последнее танго... Всему приходит конец, да, всему. И даже... Что ж, каждый получает счастья столько, сколько заслуживает...»

Николай сунул под мышку чертеж, поднял воротник пальто и медленно побрел тихой полупустынной улицей, где все еще шел по-прежнему чистый и ласковый снег.

Трое в пути

Из города они выехали затемно. Алла устроилась позади шофера, рядом с Федором Акимовичем Данчичем, групповым инженером — тот сидел возле дверцы, тяжело привалившись к стеклу автобуса. На каждом крутом повороте Алла ждала, что стекло разлетится и Федор Акимович ухнет из машины в кювет, но предупредить группового инженера об опасности не решалась. Она робела перед ним. Работать у него Алле не приходилось, но она знала, что в проектном институте Данчич считался опытным специалистом, что когда-то в молодости Федор Акимович преуспевал в боксе, а еще раньше окончил консерваторию по классу фортепьяно, до института выступал в концертах и, как говорят, подавал большие надежды. Эти разносторонние способности Данчича вызывали у нее уважение, она боялась показаться в его глазах несерьезной, неумной и выжидательно помалкивала.

Шофер Генка, парень примерно одних с Аллой лет, в надвинутой на глаза мятой фуражке, особой симпатии не внушал. У них в институте к Геннадию прочно пристала слава вздорного, циничного забияки — парня, способного и поскандалить, и оскорбить человека, а частенько и выпить лишку. Он вел машину небрежно, слегка удерживая руль, негромко насвистывал какую-то заунывную мелодию да изредка усмехался.

Медленно рассветало. За ветровым стеклом стала видна гладкая, скользкая от влаги обшивка радиатора, на обочине заструилась графленая полоса лесозащиты, а дальше окрестности тонули в белесом тумане.

На одной из выбоин автобус основательно тряхнуло, и Данчич с неудовольствием заметил:

— Ты что, дрова везешь?

— Не дрова, а начальство,— отозвался Генка все с тою же язвительной улыбкой.

— Разговорчики! — одернул его Данчич.

Генка пожал плечами, вынул из кармана папиросу, на полном ходу быстро и ловко прикурил. Меньше всего он походил на человека, занятого делом: без конца двигался, ерзал на сиденье, словно подыскивал, куда израсходовать лишнюю энергию.

— Надолго едем? — спросил он чуть погодя.

— Там видно будет,— ответил Федор Акимович.

— Вот народ! — рассердился Генка.— Так разве я против? Только объяснили бы по-людски: так, мол, и так, вернемся не скоро, захвати с собой деньжат или жратвы... Ну, командировочных не дали — ладно. А уважение ко мне должны иметь, или нет?

— Чудак-человек! — разговорился Данчич.— На службе не уважение, а субординация — главное. Понял? Под-чи-нен-ность. А если каждому стрелочнику кланяться, то и государство развалится... Раз не сказали, значит, так надо. Ясно?

— Ясно,— недовольно протянул Геннадий.

Машин на дороге прибавилось, ехать стало трудней, и Геннадий сразу притих, затаился, наблюдая за движением. Несколько раз он пытался обогнать какую-то автоколонну, выбирался из строя, с опаской отъезжал влево и сейчас же гнал автобус назад, к бровке, пережидая встречную — машина будто подбиралась к прыжку, по-кошачьи подкрадывалась к цели и снова, упустив добычу, караулила удобный случай. Рискуя столкнуться, Генка все же проскочил опасную зону, вырвался вперед и опять стал со скукой поглядывать на грузовики и легковушки, зачем-то поправлять кепку, рыться в карманах и насвистывать.

Из тумана выплыла опора электропередачи. Высокая, костистая, с широким основанием и тонкой поперечной скобой наверху, она напоминала могучую тетку с коромыслом на плечах. Опора горделиво повернулась перед машиной и скоро пропала в белесой мгле.

Минут через десять начались первые строения районного городка, пронеслись мимо крытые шифером до-

мики, залитый водой котлован, маленький кинотеатрик.

— Езжай прямо на школьный двор,— распорядился Данчич,— направо, кажется.

Говорил Федор Акимович веско, внушительно, и Алле невольно вспомнилось, что едут они осматривать помещение котельной в школе, чтобы выяснить, годится ли оно для перевода котлов на газовое топливо, и что решающим будет мнение группового инженера.

Генка послушно свернул в переулок. Вздрагивая и раскачиваясь, автобус медленно пополз по мерзлой, с острыми гребнями земле, вкатился в распахнутые ворота и чуть не въехал на ступеньки школьного крыльца.

Данчич выбрался из машины, галантно, с полупоклоном, подал девушке руку.

Геннадий перегнулся на сиденье, удерживая раскрытую дверцу, предупредил:

— Имейте в виду, сматываться отсюда надо пораньше! Или ночевать тут, или засветло домой!

— Попрошу не командовать! — снова осадил его Данчич.

День выдался трудный. За день они успели побывать и в райкоме, и у директора школы, и у главного архитектора города, заезжали на стройку Дворца культуры, где монтировали запроектированное Федором Акимовичем отопление, и спускались в жаркую, запыленную котельную. И везде Данчич задерживался подолгу, заводил с людьми бесконечные разговоры, сыпал комплиментами, витиевато и длинно рассказывал о себе и своих способностях, повсюду громогласно представлял Аллу:

— Рекомендую: моя ученица!

И каждый раз Алла смущалась и с досадой думала о том, что никакая она ему не ученица. С чего это он взял?

Вечер застал их в горкомхозе. Сотрудники уже разошлись, и лишь в приемной, за столом секретаря, сидела какая-то девушка и одним пальцем клевала на пишущей машинке.

Алла валилась с ног от усталости, живот у нее подвело, а Данчич привязался к дежурной и долго донимал ее шутливыми вопросами.

Вошел Геннадий, постоял, послушал и хмуро сказал:

— Ехать пора...

— А ты кто, собственно, такой? — шутливо спросил у него Данчич.

— Поехали. Ведь туман,— убеждал Геннадий.— Я же знаю: начнете еще про академика заливать...

Данчич выпрямился, его брови сошлись в одну строгую линию, в глазах появился холодок.

— А, ну вас! — рассердился Генка.— Возьму и уеду!

Хлопнув дверью, он выскочил из комнаты, очень скоро снаружи заработал мотор, и мимо окна поплыла голубая коробка автобуса. Федор Акимович кинулся к двери, Алла поспешила за ним.

Они застали машину возле водоразборной колонки. Генка, подняв капот, рылся в моторе.

— Хочу воду залить в радиатор,— объяснил он.

— Что ж, так и сообщим директору института,— сухо пообещал Данчич, неуклюже втиснулся в машину и распорядился:

— В гостиницу!

Генка с места так рванул машину, что Аллу подбросило на сиденье.

— Нельзя ли полегче? — спросил Федор Акимович.

— Полегче, полегче,— сердился Геннадий.— Вот скажите, зачем было манежить нас без обеда, если все одно остаемся?

Данчич промолчал.

Они оставили автобус во дворе гостиницы, и все трое вошли в вестибюль. Против ожидания, места для них нашлись. Шофер первым заполнил анкету, просунул в окошко к администратору паспорт и сказал:

— Вы как хотите, а я иду ужинать.

И вызывающе добавил:

— В ресторан!

— Ну хорошо,— согласился Данчич.

Пока они усаживались за стол, Геннадий успел познакомиться с официанткой, и вскоре она, с улыбкой поглядывая на шофера, с блокнотиком наготове, уже стояла возле них в ожидании заказа.

— Мне водки,— сказал Геннадий.

Данчич плашмя положил свою тяжелую руку на стол.

— Никакой водки!

Длинное лицо Геннадия изумленно застыло.

— Знаете что, Федор Акимович! — довольно резко начал шофер, но сдержался и повторил официантке:

— Водки. Сто пятьдесят.

Ели они молча. Федор Акимович делал вид, что не замечает шофера. Лишь Геннадий, раньше всех опорожнив тарелку, рассуждал:

— Что-то не пойму, выпил я, или нет. Заказать еще, что ли?

Данчич сурово взглянул на шофера, парень, не обращая внимания, поманил пальцем официантку.

Алла отложила вилку, перехватив задорный взгляд Геннадия, робко попросила его:

— Может быть, не надо больше?

Парень пожал плечами, но заказывать водку не стал и, вздохнув, вышел из-за стола.

И тогда Данчич разговорился. Он вдруг заинтересовался Аллой, спросил, где училась, какой у нее опыт работы, затем пространно и обстоятельно стал рассказывать о себе, о своих знакомствах, о том, как однажды случайно встретился с бывшим соучеником жены, ныне известным академиком. Случай был простенький, немного сентиментальный, но Аллу удивило, что главным в истории Данчича выглядела не встреча, не ощущения жены и даже не академик, а он сам, его поведение, его слова. А потом он даже вспомнил стихи.

Это были незнакомые стихи, стихи без рифмы, без привычного чередования строк, заунывное чтение Федора Акимовича, вероятно, отняло у них половину очарования, и все-таки звучали они свежо, величаво, производили впечатление чего-то кристально-прозрачного, искристого, удивительно схожего с живым, залитым ослепительным солнцем родником.

— А чьи стихи-то? — заинтересовалась Алла.

— Лонгфелло. «Песнь о Гайавате»,— помедлив, объяснил Данчич и, польщенный вниманием спутницы, продолжал:

— «Дай коры мне, о Береза!
Желтой дай коры, Береза,
Ты, что высишься в долине
Стройным станом над потоком!
Я свяжу себе пирогу,
Легкий челн себе построю,
И в воде он будет плавать,

Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка!»

Вернулся Геннадий, посидел, послушал, перебив Данчича, пригласил Аллу подышать свежим воздухом на улице, она отрицательно качнула головой, шофер нахмурился и скоро, неслышно ступая, отошел от столика, а волшебство продолжалось:

— «Муж с женой подобен луку,
Луку с крепкой тетивою»...

...Да, стихи были обычные, написанные точными, старыми словами, стихи можно было даже разложить на составные части, разъединить, как бусы: отдельно — мужественная романтика, отдельно — экзотические имена и названия, отдельно — напевная выразительность фраз, а все вместе таинственным образом увлекало Аллу, проникало в какие-то неизвестные ей самой тайники сознания, будило в ней теплые ответные чувства.

Но потом Алла начала уставать, строчки, имена, события путались в ее воображении, вязли на полпути, не достигая ушей. Глаза у нее слипались, голова кружилась, лицо Данчича смутно мерцало где-то в отдалении, а она все сидела, слушала, жалея о том, что не ушла с Геннадием.

Наконец Федор Акимович опомнился, умолк, извинился перед Аллой и распрощался. Она перевела дух, поднялась в отведенную ей комнатку, заперла дверь и улеглась спать.

Наутро туман сгустился. Крыши зданий будто срезало облаком, фигурки прохожих почернели и словно обуглились, они отважно передвигались над самой пропастью — позади них раскинулась белесая бездонная зыбь.

Наскоро перекусив и попив чаю, приезжие снова отправились по делам, опять побывали в школе, у знакомого Федору Акимовичу главного архитектора, на стройке, томительно долго выясняли в горкомхозе место, откуда можно будет подвести газ. В конце концов Алле надоела и роль провожатого, и звание ученицы, и к вечеру она больше не выходила из автобуса.

Генка сочувственно улыбался ей, на щеках у него показывались мягкие ямочки.

— Что, не утерпела? — говорил он.— Трудно с

ним, я знаю! Любит, чтобы ему в рот заглядывали. Данчич и дома такой: мужчины его раскусили, не слушают, так он соберет старух, детишек, тещ обиженных, петушится перед ними, и легче ему. Организм требует, что ли?

Ноги словно разбухали от сырости, ботинки, как губки, впитывали влагу, и Алле казалось, будто и она сама сырела, пухла и подходила, как тесто. Она слушала Геннадия и пыталась понять его, пробовала разобраться, чего же в нем больше, того, плохого, известного институту, или чего-то другого, лучшего, пока неясного ей.

— И не вздумай спорить с ним, озлится — не дай бог! Чего ни подскажи ему — обязательно сделает наоборот. Обидно ему, значит, когда всякая мелюзга учит... Есть хочешь? Да бери, чего там!

Он протянул девушке сдобную булочку, а немного погодя вытащил из-под сиденья ватную стеганку, молча укрыл ею колени Аллы.

— Как бы не засесть в дороге,— озабоченно продолжал он.— Темнеет, и туман. Гроб с музыкой, а не погода.

Данчич освободился поздно. Не торопясь, он подошел к машине, с озабоченным видом распахнул дверцу.

— В гостиницу? — сказал Генка.

— Можно ехать,— сказал Федор Акимович, помедлил, наслаждаясь общим вниманием, и не сразу добавил:

— Домой.

— Домой, домой,— ворчал Геннадий, оглядываясь, энергично вращая баранку.— На печку пора, а не домой. Вот застрянем в степи — будете знать!

На окраине города он затормозил возле кучки людей с поднятыми руками и забрал их всех. В автобусе сразу стало тепло и тесно.

— Что же мы, всех подбирать будем? — возмутился Данчич.

Геннадий даже не отозвался.

Последний теплый огонек проколыхался у дороги и померк вдали, туман со всех сторон подступил к машине, и чудилось, будто громоздкое сооружение с живыми существами на борту погружается в топкое серое болото. Пришлось включить фары, но жиденький грязнова-

тый пучок света вырвал из тьмы лишь узкий клочок асфальта и в трех метрах уперся в глухую враждебную стену.

— Н-да, поездочка! — озабоченно сказал кто-то из пассажиров.— Наши машины в такой туман не ходят.

— Эка невидаль — туман! — вмешался Федор Акимович.— Симулянты они, а не шоферы!

Генка на миг стремительно повернулся к нему, но ничего не сказал.

— У заводских машин желтые фары поставили,— сказал он Алле, точно делился с ней своими заботами.— Там работать легче, а тут мучайся...

На ветровом стекле из стороны в сторону кланялись дворники, отодвигая капли воды кверху, а там, на узком ручейке, встречный ветер гнал по стеклу крошечные волны. Сбоку проплывали обреченные, покрытые изморозью деревья.

— Боже, когда ж они доберутся? — вырвалось у Аллы.

Впереди тащились по обочине два упрямых человечка. большой и маленький.

Генка резко остановил машину.

— Ну, знаешь! — снова рассердился Данчич.— Это тебе даром не пройдет, так и знай! Совсем обнаглел... Ты у меня получишь сполна, я обещаю!

Точно не слыша, Геннадий отворил дверцу, подождал пешеходов.

— Садись, поедем!

— Да у меня, сынок, ни копейки с собою,— объяснила женщина, робко заглядывая в автобус.

— Садись, тетка, садись!

— Поместимся как-нибудь,— поддержал словоохотливый мужчина позади.

Путники поднялись в машину, пассажиры теснились, но места для ребенка так и не нашлось.

Алла привстала, привлекла пугливую, обвязанную материнским платком девочку к себе, усадила на колени.

— Поехали!

Сначала девочка ерзала, беспокойно озиралась, разыскивая мать, а потом затихла.

Долгое время автобус шел следом за самосвалом, пристроился сзади, будто пристегнулся к нему невидимым буксиром. Самосвал отважно пробивал серое меси-

во, пробирался вперед на ощупь, и под его прикрытием Геннадий лишь повторял маневры ведущего: прибавлял газ, когда очертания самосвала, уменьшаясь, удалялись, или тормозил, если темный силуэт впереди рос и близился. Иногда в передней машине гасили фары, и тогда она ускользала, растворялась во тьме, и мерещилось, что автобус сейчас же врежется в нее.

Но вот самосвал мигнул красной искоркой стопсигнала, вильнул в сторону и навсегда исчез. Автобус снова остался на дороге один.

Данчич зашевелился, достал папиросу, закурил. Он повернулся к Алле и заговорил о котельной, о том, что можно переводить котлы на газ, что все условия соблюдены.

— Простите,— неожиданно перебила его Алла.— Но у меня так болит голова...

Федор Акимович обиженно умолк.

«Странный он какой-то,— подумала Алла через минуту.— Такие возможности, знания, известность, а человек он трудный, деревянный какой-то, живет без радости, на холостом ходу, ни тепла от него людям, ни ласки... Мне-то — куда ни шло, а жене каково, а близким?..»

Девочка на ее руках обмякла, сонно и глубоко задышала. Алла придерживала ребенка рукой и не шевелилась, отгоняя дрему.

...Не надо спать, нельзя. Заснешь — уронишь девочку. Хочется, а ты не спи, крепись, как Геннадий. Он обязан быть зорким и бодрым, и сейчас, и утром — всегда... Нелегка шоферская жизнь. Утром ты еще потягиваешься в постели, а Геннадий уже на колесах, после работы идешь в кино, а он еще в пути, в дороге. В дождь, в мороз, в гололедицу или вот в такой туман. Заносы и пурга. Топкая грязь. Аварии. Дорога. Изо дня в день, всю жизнь. Попробуй-ка!

...Там, впереди, на приборной доске горит лампа-малютка. Она почти не светит: на лице Геннадия глубокие тени, его плечи огромны и чугунно тверды, Генка, Геннадий... Геннадий Мазепа, шофер. Или Гетьман, как его называют в шутку. И глупо, глупо и плоско — ну, какой из него гетьман? Так, обыкновенный парень, как все. Может быть, с чудинкой, с заскоками, а, воз-

можно, и нет. Во всяком случае, не хуже Данчича. Нет, не хуже!.. А она ему и по плечо не достанет...

Целой стаей ринулись навстречу груженые машины. Проезжая мимо, они гасили свет, тревожно и протяжно ревели, будто жаловались на судьбу. Резко очерченные радужным ореолом лучей задних машин, хищно вытянув передние лапы, грузовики уносились во тьму в определенном ритме, строго по очереди.

Алла смотрела на них и старалась не сбиться со счета.

...Восьмой, девятый... Одиннадцатый... Качает, как в поезде. Тринадцатый... Плывешь, как в песне. «Дай коры мне, о Береза!» Шестнадцатый... Дай коры мне... А Генке влетит. Вот она, субординация, если подходить к делу формально. Тут и свихнуться недолго. Двадцать первый... Раз нехорош, так чего стараться? Знай, оправдывай мнение! Был человек — и вот уже нет его, горел огонек в душе — и погас. И не нашлось рук, чтобы уберечь, прикрыть заветное пламя от ветра. А он, этот огонь, вероятно теплится у каждого...

Генка опять негромко свистал свою немудреную песенку. Под нее так спокойно дышалось у парня за спиной, таким желанным подкатывался сон...

Память прошлого

Три дня Никитична прожила у сына в Москве и за это время ни разу не выходила из дому.

— Что я там забыла? — упрямо отказывалась она, когда сын уговаривал ее выйти на улицу, посмотреть на столицу, на москвичей.— Еще затолкают.

Сухощавая, махонькая, в гладком темном платье и фартуке с оборками, в толстых, домашней вязки, шерстяных чулках, она уже на другой день хлопотала на кухне, помогала невестке по хозяйству. Хитрые квартирные устройства неохотно подчинялись ее рукам: вентили выскальзывали из пальцев, огонь в газовой плите то угасал, то взрывался, форточки почему-то не затворялись, и Елена Владимировна частенько приходила свекрови на помощь. Скоро Никитична сама отступилась от мудреной городской механики и довольствовалась лишь черной работой: чистила картофель, убирала со стола, мыла посуду, подметала полы.

Она была еще бодрая, крепкая, за ужином храбро опрокидывала рюмку водки и не торопилась закусывать. На ее желтом, пересохшем от времени лице пятнами проступал румянец, глаза маслились, добрели, она ласково поглядывала на сына, на его жену и все гладила заскорузлой ладошкой внучку. В десятом часу ее уже морил сон, Никитична тихонько пристраивалась на диване и крепко засыпала. А хозяева выключали телевизор, укладывали девочку в постель, выходили на кухню и вполголоса переговаривались.

— Чем ее занять, собственно говоря? — рассуждал Дмитрий Алексеевич, худощавый мужчина лет сорока,

с глубокими залысинами на висках и доверчивыми голубыми глазами.— Просто ума не приложу.

— Ты, Митя, ее лучше знаешь,— говорила жена.— Тебе видней. Кровь-то родная...

— Да ведь заупрямится, не пойдет, куда ни позови! Я же знаю!

— Надо что-то придумать. А то еще обидится и уедет.

— Н-да... Проблема! — шептал он, поглядывая из коридора на узкую, с острыми лопатками спину матери.

Никитична проживала у старшего сына Василия, механика, в районном центре, Дмитрий Алексеевич не видел ее шесть лет, каждый год настойчиво звал к себе и очень обрадовался ее приезду. Первые дни он допоздна засиживался с ней, вспоминал общих знакомых, Никитична рассказывала о колхозе, новом председателе, заработках старшего сына, но уже на третьи сутки старушка начала скучать, вздыхать, беспокоиться об отъезде, да и Дмитрия Алексеевича уже тянуло почитать новый роман, послушать одну из своих любимых сонат или посмотреть с женой последний итальянский кинофильм.

До ночи так ничего и не придумали. Дмитрий Алексеевич долго лежал в темноте, слушал ровное, теплое дыхание жены и задумчиво следил, как размашисто и бесшумно рыскали по стенам лучи автомобильных фар.

А утром, отыскав сигареты, на ходу приглаживая спутанные волосы, он пошел курить на кухню и там наткнулся на мать. Повязав платочек, она сидела у окна, пригорюнясь, подперев кулаком щеку, и печально глядела на улицу. Увидев сына, Никитична убрала руку, потуже затянула платок и сказала:

— А дома у нас, должно, вьюга пуржит...

Желание курить у него сразу пропало.

— Знаешь, мама,— тихо заговорил он.— А ведь мы с тобой сегодня гулять пойдем. Побродим, поглядим на Москву... Схожу к начальству, отпрошусь на денек и двинем. Хочешь?

— А тебя не заругают на службе?

Дмитрий Алексеевич только улыбнулся.

Через два часа он уже вернулся, разгоряченный, довольный, и, не раздеваясь, торжественно и широко провел рукою по воздуху.

— Собирайся, мать! — сказал он.— В Кремль поведу.

— Куда?

— В Кремль. Увидишь мавзолей, дворцы, царь-пушку, колокольню Ивана Великого. Интересно ведь, а? Там теперь даже иностранцы бывают.

— Иноземцы, стало быть? Небось и шапки в храмах не снимают?

— Шапки? Не знаю, право. Кажется, нет...

— И чего глядят на чужое? Чай, не в зверинце. Нет уж, Митрий, ступай один. А то еще сомлею в пути...

Дмитрий Алексеевич переглянулся с женой, ослабил шарф на шее и уже не так уверенно предложил:

— Давай хоть в кино сходим! Так сказать, всей семьей, по-праздничному...

— Да ить усну я там, милок! Только зря потратишься на билет. Так в дрему и клонит без свету. Уж я знаю!

Сын опустился на стул, покачал головой, усмехнулся.

— Уф, запарился... Что еще? Может, в театр?

Он загляделся на пол, потом очнулся, прижал ладони к груди и снова заговорил:

— Послушай, ма, вспомни Ванюшку нашего! Как он живописью-то увлекался? Любил картины, художников, сам рисовал... Если б не погиб, он не пропустил бы сейчас ни одного музея, ни одной выставки. А мы живы остались — и не смотрим, не интересуемся. Тебя даже на улицу не вытянешь... А не мешало бы побывать в картинной галерее. Ради Ванюшки, в его честь. Пойдем, а?

И Никитична согласилась. Спросила только, нельзя ли взять с собой и внучку, сняла фартук, а от резиновых бот невестки отказалась:

— Застынут ноги-то.

Елена Владимировна проводила свекровь и мужа за порог, сказала:

— Только не увлекайся, Митя, помни: ты не один. Не задерживайся долго.

С крыш капало, по водосточным трубам с грохотом скатывался лед. На солнечной стороне бойко приплясывали водяные фонтанчики, снег посерел, вздулся пупырышками и местами походил на разъеденный кипят-

ком сахар. А на вывесках, затекших за зиму витринах, на черных от луж тротуарах лучились солнечные звезды и до боли слепили глаза.

Пояснения сына трудно давались Никитичне. Лишь изредка мельком она окидывала взором какое-нибудь здание или памятник, о которых рассказывал Дмитрий Алексеевич, но больше глядела на прохожих, на тесные ряды норовистых автомашин, которым, казалось, никогда не выбраться из этой сутолоки, на маленьких, бесстрашно снующих под колесами милиционеров. В широконосых валенках с галошами, в черной шали с кистями, она шла неутомимо и ходко, с опаской обходила слишком шустрых молодых людей, изредка рукой отгоняла от себя струю синего отработанного газа.

— Люду-то, люду! Ах ты, господи! — не раз повторяла она, пережидая транспорт.

Дмитрий Алексеевич примерялся к ее шагам и все думал о том, до чего мать не похожа на тех бойких, скупых баб и старух, которые торчат на городских рынках или толкаются в очередях, и как постарела в разлуке.

— Погоди чуток, умаялась я,— сказала она ему в вестибюле станции метро, зажатая встречными густыми потоками пассажиров.— Прямо закружил народ.

Сын отвел ее в сторону, постоял рядом и спросил:

— Лучше теперь?

— Да вроде полегшало.

Возле невысокого, изукрашенного пряничной резьбой здания Никитична вдруг остановилась, схватила сына за локоть.

— И куда меня, старую, занесло? — сказала она.— Чего я там пойму? Еще засмеют...

Она постояла, невесело взглянула на урезанное, сдавленное крышами небо и вздохнула.

— Веди уж...

Музейная обстановка всегда успокаивала и умиротворяла Дмитрия Алексеевича. Покой и простор залов, исполненное внутренней силы безмолвие отчеркнутых рамами полотен, учтивые лица служителей словно отгораживали, очищали его от будничной суеты, мелочных забот и неурядиц. Вот и сегодня он снова ощутил радостное волнение, опять настроился на торжественный лад.

А Никитична без платка чувствовала себя неуют-

но, неустроенно, втягивала голову в плечи, поминутно проводила рукой по волосам, точно боялась, что их сдует ветром.

— Не робей, мама! — шепнул ей Дмитрий Алексеевич.

Первые комнаты Никитична прошла насквозь, не задерживаясь, мягко шаркая валенками по полу, неловкая, заброшенная сюда неведомо зачем, прошла, будто торопилась к выходу, и Дмитрий Алексеевич не решился ее остановить. Но потом она освоилась, замедлила шаги, осторожно поворачивая голову, заинтересовалась посетителями, стала осматривать полотна.

Возле экскурсовода, тоненькой женщины с короткой мужской прической, она остановилась, прислушалась, засмотрелась на ее фиолетовые губы. Сцепив кисти рук и глядя на пол, женщина обстоятельно рассказывала об известном художнике. Мальчики в белых рубашках и девочки в фартучках жались к ней и, задрав головы, почтительно глазели на картину. Никитична тоже стала всматриваться в застывшие людские фигуры, словно разыскивала среди них чье-то знакомое лицо. Но люди на полотне все больше замыкались, угасали под слоем красок, и Никитична двинулась дальше.

В соседнем зале она задержалась возле небольшого, спокойного пейзажа, пытливо разглядывала его вблизи, точно ждала, что природа оживет.

— А похоже,— громко сказала она и обернулась к сыну.

— Вот видишь! — обрадовался Дмитрий Алексеевич, не обращая внимания на чей-то иронический взгляд.

Врубель не понравился Никитичне.

— Чегой-то он весь чешуей вздулся? — спросила она, указывая на «Демона».— Чисто змея.

У левитановской рощи Никитична простояла долго. Склонив голову набок, приложив палец к губам, она медленно обдумывала свою, трудную думу, о чем-то соображала про себя и под конец даже вздохнула.

Дмитрий Алексеевич терпеливо ожидал ее. Непосредственность матери трогала его, ему хотелось, чтобы она сегодня побольше поняла, чтобы в сознании у нее осталось хорошее, яркое, чтобы живопись хоть чуточку проняла и обрадовала ее.

Публика постепенно редела. В новом просторном зале они застали только маленькую девочку, которая сидела на стуле и болтала ногами, да седого осанистого мужчину в светлом костюме — он то подходил к большой позолоченной раме, то отступал от нее на несколько шагов, изучая картину издали. Два рослых парня остриженные под ежик, в распахнутых куртках, сидели рядом перед мольбертами и о чем-то весело переговаривались.

Никитична поначалу косилась в их сторону, затем зашла за их спины, придвинулась вплотную и заглянула поверх голов.

На загрунтованных холстах начаты были портреты какого-то знатного вельможи. Из ящиков торчали острые копья кисточек, на дне валялись свернутые улитки полупустых тюбиков, пахло бензином и красками.

Никитична вдруг согнулась, опустила голову, лицо ее сморщилось, огрубело, стало совсем некрасивым.

— Что ты? — встревожился Дмитрий Алексеевич.

— Ванюшка-то наш...— еле выговорила она искривленными дрожащими губами.

— Ну, не надо, мама,— говорил он, поддерживая ее за локти.— Ну, успокойся, прошу тебя. Зачем ты, право...

Девочка перестала болтать ногами, парни с любопытством обернулись.

Дмитрий Алексеевич вел Никитичну об руку, произносил какие-то ненужные, ласковые слова. Утешать было нелегко. Он и сам чувствовал себя так, словно только что получил похоронную. То, что погиб и лежит где-то в чужой земле Ванюшка, самый живой и веселый из братьев, что из-за его смерти подавлена горем именно она, их мать, сейчас казалось Дмитрию Алексеевичу особенно жестоким и несправедливым.

— Не буду, чего уж,— наконец, сказала она.

Он хотел улыбнуться ей и не смог.

Незаметно они очутились в залах древней иконописи. И тогда Дмитрий Алексеевич спохватился, забеспокоился о том, как бы снова не расстроить мать.

— Это чего здесь? — неожиданно заинтересовалась она и первая пододвинулась к полотнам.

Возле изображения всадника в победно-праздничной, подхваченной ветром мантии, восседающего на

тонконогом, с выгнутой шеей, коне, Никитична изумленно прошептала:

— Егорий...

Она сложила руки перед собой и медленно, бочком поплыла вдоль стены, не пропуская ни одной картины. Ее лицо было суровым и словно отсутствующим, как у тех святых, на которых она смотрела, да и все ее сухонькое, словно выжатое временем тельце в длинном, мешковатом платье оказалось подстать этому строгому и нерадостному залу.

Длинный рассказ нового экскурсовода об иконе Владимирской божьей матери, ее участии в сражениях, Никитична терпеливо выстояла до конца, а потом даже провела ладонью по раме, но тут же испуганно отдернула руку, точно обожглась.

— Заступница, стало быть... Ах ты, господи!— потерянно проговорила она.

Дальше следовать за ней Дмитрий Алексеевич не решился. Он тоже был непрочь лишний раз поторчать возле работ Феофана Грека или Рублева, вволю насмотреться на каждое полотно в отдельности, вглядеться в каждую выразительную фигуру или удачную деталь.

В зале было светло. Солнце наискось рассекало стену, отхватило у стула передние ножки и угол сиденья, ровными ковриками улеглось на полу. Казалось, что солнце поселилось в этой комнате с незапамятных времен и не покидало зал еще с той поры, когда писались картины.

Глаза непорочных дев и святых угодников будто и не замечали Дмитрия Алексеевича, не взирали на него строго и не грозили ему загробной карой. Они словно прислушивались к чему-то важному, сосредоточились на внутренней мысли, углубились в самих себя.

Дмитрий Алексеевич смотрел на Деисусный чин, на блеклые лики апостолов, на предостерегающе поднятые персты Николая-Чудотворца, и на него вдруг повеяло стариной, дохнуло запахом лежалой древности, не затхлостью и тлением, а каким-то чистым добротным духом бережно хранимых семейных реликвий. Ему даже померещилось чье-то лицо, озаренное сполохами огня, чьи-то большие немигающие глаза. Какой-то предок мелькнул перед его взором, русоволосый, остри-

женный в скобку, в крепкой холщовой рубахе. Под медные звуки набата он словно всматривался в Дмитрия Алексеевича из-под руки, глядел на него пытливо и строго, и от этого призрачного видения у Дмитрия Алексеевича сильно забилось сердце.

И сейчас же, без всякой связи, ему вспомнилось собственное детство, узкие листочки ракит над чахлой речонкой, спутанные ноги коней на лугу, нечесаные головы старших братьев.

Он уже корил себя за то, что давно не бывал на родине, что напрасно столько лет не навещал мамашу. Правда, работы в институте подвалило порядочно: почти вся страна переводила на газ отопительные котельные, приходилось много ездить, рыться в технической литературе, месяцами ломать голову над узлами и схемами надежной отечественной автоматики. И все же можно было выкроить время для поездки. Своим землякам он, вероятно, покажется чудаковатым и чересчур развязным, как и все горожане, да и для него в селе многое будет выглядеть нынче забавным. Но там, дома, станет звенеть в степи, стрекотать кузнечиками полуденный зной, размахнется в полнеба неправдоподобно-роскошный закат, неброские с виду девчонки заведут на посиделках будто бы и наивные, берущие за живое песни, на всю ночь примется утюжить землю за селом неугомонный трактор — все наше, кровное, русское, все то, чего не выбросить из головы, никогда не вытравить из сердца.

— ...Митрий! — теребила его за рукав Никитична. — Очнись, милый!

— А? Да, да, слушаю!

— Сберегли, говорю, иконы-то?

— Еще бы! Ведь это — искусство, ценности.

— Уважают, стало быть... Вот и дед мой тоже, уж на что дерзок был, сроду лоб не перекрестит, а образа не хаял. Людскими, говорит, руками делано, писано с душой...

Она еще раз обвела взглядом картины и фрески и спросила:

— Не пора ли идти-то?

На улице щеки Никитичны посвежели и разрумянились, глаза живо заблестели, она шла, не разбирая ни луж, ни тротуаров, с любопытством поглядывала

вправо, за реку, и рассказывала о родственниках, о доме, о скотине, о том, что в Александровке открыли птицеферму и запрудили речку, а в Сокоревку, наконец, провели электричество. Знакомые сельские названия звучали для Дмитрия Алексеевича удивительно емко и певуче, ему уже виделось, что Никитична еще раз побывает в Москве, поглядит на столицу, что и сам он теперь частенько будет наезжать в родные места.

У перекрестка в ожидании зеленого света затаились легковые автомашины, их спины блестели и лоснились на солнце. А справа, за рекой, золотились в голубом небе Кремлевские купола...

Вечерняя почта

Гроза миновала. Только далеко за городом все еще гремел гром и туда же, словно откликаясь на зов, спешили последние жиденькие тучи. За окном колыхались листья клена, у подъезда в крохотной лужице купался воробей: боязливо нагнет голову, трепыхнет крыльями, взбивая рябь на воде, распрямится и снова опустит...

«Просохнет быстро — весна!»— подумал Василий, отходя от окна.

Он вспомнил мать, представил, как она обрадуется его приезду, вспомнил колхозный выгон, за которым начинался зыбкий от теплого воздуха полевой простор, и ему снова захотелось поскорей очутиться там, в Егорьевском, захотелось брести проселочной дорогой по щиколотку в пыли, очутиться в настоящем лесу, погрузиться в густую, пахучую траву и, покусывая былинку, долго-долго глядеть в голубое небо. Но теперь к этим желаниям примешивалось смутное ощущение чего-то прерванного или незавершенного, словно Василий не закончил срочную работу или не успел объясниться с людьми, будто он уже сейчас, перед отпуском, сожалел о расставании с конторой.

Он поднял чемодан, слегка встряхнул его, прикидывая, не тяжело ли будет нести.

Кажется, упаковал все. Белье, книги, шаль в подарок мамаше... Ох, уж этот подарок! Трудное дело — выбирать гостинец матери. Не покупать же, скажем, духи или прозрачный шелк на платье! А темные, чересчур старушечьи вещи не обрадуют. Девушке угодить легче. Но девушки у него, к сожалению, до сих пор нет...

Не забыть бы чего. Бритву взял, зубную пасту, краски... На отдыхе только и рисовать. В Егорьевском такие чудесные окрестности и пронизанные светом пейзажи, что лучшей натуры и не сыщешь. Пожалуй, кружковцы позавидуют. Особенно Наташа.

Странная она, эта Наташа. Ну, зачем секретарю-машинистке проектной конторы кружок рисунка? Ему, архитектору,— другое дело, но ей... И все же она регулярно посещает занятия, терпеливо зарисовывает всевозможные орнаменты, гипсовые руки и маски. И по каждому вопросу почему-то обращается только к нему, Василию.

...Трудно представить ее лицо. Она всегда припоминается прежней, такой, какой поступала в контору: худенькая девочка с уложенными вокруг головы жиденькими косичками, в коротком стареньком пальто, выгоревших парусиновых туфлях и белом платке.

Работала она рассыльной, старалась, по лестнице всегда поднималась бегом. Когда к ней обращались с поручением, она негромко повторяла вслух приказание, как бы запоминая его. Нередко Василий справлялся у нее, не было ли ему писем. Если писем не было, вид у нее был такой виноватый, будто она сама по забывчивости не написала ему.

Теперь она уже — секретарь начальника, учится в вечерней школе, но по-прежнему больше молчит, держится в тени, и ее, как и раньше, все называют, точно маленькую, Наташенькой.

Вчера, когда Василий прощался с людьми, она увидев его, встала с места, привычно оправила платье и сказала:

— Вы уезжаете, Василий Григорьевич? В отпуск? Счастливого пути!

«...Однако, пора, седьмой час».

Василий еще раз оглядел комнату, вынес чемодан и, заперев дверь на ключ, вышел на улицу. Поднявшись в трамвай, он поставил чемодан к стенке и прислонился к никелированной стойке. Впереди него без умолку болтали две девушки. Одна из них сидела у окна, далеко отставив руку, унизанную кольцами, вторая, в оранжевой шляпке, истыканной дырочками, тараторила:

— Понимаешь, я жду, а его нет. Как тебе нравится? Жду, а он, видите ли, задерживается! Я десять

минут прождала и ушла. Пусть не опаздывает, правда? — она помолчала, украдкой поглядела на Василия и, понизив голос, добавила:

— У него ведь не очень солидная внешность, как по-твоему?

Василий отвернулся. Десять минут! Ненадолго же ее хватило! А ведь ты тоже опаздывал бы, не так ли? Заседания, совещания, конкурсы, проекты, то да се. Нет, твое время свиданий минуло. Стар становишься, скоро стукнет двадцать семь... Интересно, что эти щебетухи понимают под солидностью?

Он пригнулся, разглядывая в застекленной двери свое отражение. Очень темная, почти коричневая кожа вокруг глаз, точно обожженная солнцем, на лбу морщины, глупая привычка сутулиться. При твоем мачтовом росте!

Да, дорогой товарищ, стареешь. Вон и за поручни держишься цепко, с напряжением, как будто боишься упасть. Нет показной небрежности, как вот у этого самоуверенного парня в светлом плаще. Такого будут ждать, а ты уж не суйся дальше своих эркеров и лоджий.

На остановке девушки сошли. Из окна вагона Василий следил за ними и вспоминал Лину. Ведь она тоже из их породы. Как здорово, что он все-таки избавился от ее чар, освободился от нее, словно выздоровел после тяжелой болезни. Почитателей у Лины и без него хватает, среди них она чувствует себя маленькой королевой и словно купается во внимании. Вредно, когда девушка знает, что она красивая...

Трамвай выехал за город. С высокой насыпи стала видна вся степь, тесно застроенная и обжитая до самого горизонта. По вечерам вся эта даль светится тысячами огней, мерцает и лучится,— настоящий Млечный Путь, только ярче, ближе, огнистей. И в нем, в этом звездном мире, по праву заняли место и его звезды — огни тех зданий, которые проектировал он...

Подъехали к вокзалу. Василий сошел с трамвая и стал пробираться сквозь текучую толпу пассажиров.

Паровоз был чистенький, яркий, лоснящийся, словно его только что смазали гусиным жиром. На перроне наступили те минуты затишья и праздного ожидания, когда пассажиры распрощались с провожающими, заняли свои места, а до отхода поезда еще оста-

валось время. Только уже знакомый молодой человек в светлом плаще энергично тряс руку товарищу, да из зала ожидания спешила запоздалая путешественница в цветастом платье и синих носочках. Она двигалась рывками, то замедляя шаги возле группы людей, то снова устремляясь к следующей, и эти толчки очень напоминали замысловатые па медлительного бального танца.

Василий пригляделся и узнал Наташу. Она направилась к нему, и он решил, что его, вероятно, отзывают из отпуска «ввиду необходимости срочного выпуска проекта».

Девушка тяжело дышала. Когда она молча протянула ему письмо, он заметил, как плавно выгнулась кисть ее руки, маленькой, с грубоватой, натертой до блеска кожей на ладонях. Эти ладони, наверное, привыкли к любой работе...

Он разорвал конверт и начал читать: «...решением Комитета по делам архитектуры... архитектору Шамардину Василию Григорьевичу присуждена первая премия и почетная грамота... за лучший проект заводского дворца культуры...»

Он еще и еще раз перечитал письмо и невольно улыбнулся. Здорово, черт возьми! Первая премия! Это ведь почти признание его творческих способностей, его умения выразить в архитектурной форме свои мысли, сказать что-то свое, новое. Значит, не пропали даром многочисленные эскизы, не зря он просиживал вечера и воскресенья над проектом.

Василий поднял глаза и увидел перед собой маленькие сережки с голубыми камешками, голубую косынку на шее, цветастое шелковое платье Наташи.

Видно, переоделась после работы, в конторе ходит в простеньком, из штапеля. Когда же успела? И ради чего? Стоило ли спешить на вокзал, чтобы отдать письмо, которое, на худой конец, можно переслать почтой?

...Она изменилась. Повзрослела, похорошела. Удивительно, что не замечал этого раньше. Бывает же так: вот, знаешь человека, привык к нему и вдруг — словно первый раз видишь!

— Что-нибудь важное? — спросила Наташа. — Я думала... Вы спрашивали письма. И вот, вечерняя почта... И я привезла. Вы ж уезжаете...

Щеки у нее разгорелись, глаза округлились и словно потемнели.

— Простите меня,— еще тише продолжала она, накручивая косынку на палец.— Я, наверно, глупа... пришла сюда некстати. Но ведь письмо из самого управления! — Она по-детски приложила руку к груди, будто просила прощения.

— Спасибо, Наташа! — наконец, сказал он и пожал ей руку.

Резко и требовательно заревел паровоз. Девушка вздрогнула, поглядела вперед, в голову поезда.

— Спасибо, Наташенька! — еще раз повторил он, заглядывая в ее серые, вдруг погрустневшие глаза.

— Я хотела,— осмелев, заторопилась она.— Как вы думаете, научусь я? Возьмете к себе в помощники, если подучусь? На разработку декоративных шаблонов хотя бы?

Не дожидаясь ответа, она слегка подтолкнула его к поезду, который начал набирать скорость.

— Да садитесь же!

Василий поднялся в вагон, поставил чемодан возле служебного купе и выглянул в окно.

Она шла за поездом, поглядывая на окна, но, увидев его, застигнутая врасплох, остановилась и стала медленно уплывать назад. Она удалялась, хотя он не ответил на ее вопрос, не сказал ей чего-то нужного и важного. Василий высунулся из окна и крикнул:

— Я напишу вам!

Возгласы провожающих заглушили его слова, и она подбежала к вагону поближе.

— Я напишу вам, хорошо? — повторил он.

Она улыбнулась и, повинуясь общему настроению, замахала рукой. Некоторое время она шла за поездом, а потом, наткнувшись на багажные тележки, остановилась.

Так она и уплывала от него с этой улыбкой, с блестящими от предзакатного солнца волосами. Несколько секунд он видел ее косынку, не то прощально, не то призывно поднятую руку, рельефно вылепленную ветром фигуру в цветастом платье, а затем она растворилась в лучистом сиянии вечера.

Василий подставил лицо встречному ветру и глубоко, точно собирался нырнуть, вздохнул.

Сквозь мрак и туман

Это уже потом, много лет спустя, пережитое вспоминалось последовательно, связной цепочкой, а раньше на Петра наваливалось все сразу, надвигалось на него бесконечным кошмаром, вереницей лагерей, голодовок и лишений.

В то время его сознание будто притупилось, оно как бы заглохло и подернулось пленкой равнодушия. Куда важнее казалось умение считать — привычное занятие Петра в последнем лагере. Там, чтобы остаться в живых и не упасть под ноги конвойных, чтобы уберечься от тупой покорности, он цеплялся за счет, как за какое-то, пусть ничтожное проявление мысли, слабый проблеск разума.

И он считал. Считал нары в бараке и конвойных, иглы колючей проволоки и собственные шаги в колонне, камешки под ногами и холодные звезды чужого неба.

Весной Петр снова бежал, и опять ему так и не удалось добраться к родным местам. После долгих скитаний он, наконец, увидел неоглядные поля, задумчивые перелески, крытые соломой хаты, и все-таки это была еще чужая земля: на околицах сел раскинули руки гипсовые, в рост человека, распятия, призраками белевшие по ночам; безмолвно буравили небо стрельчатые башни костелов, жители ходили в смушковых шапках и грубошерстных свитках.

Один такой крестьянин в узеньких, в обтяжку, штанах, испачканных навозом, увидев Петра, молча распахнул перед ним двери сарая и, точно не замечая пришельцев, скрылся в доме.

Сон был сладостным. Колючие иглы сухой травы

заползали в рукава, кололи за пазухой, но сено отдавало таким душистым дурманом, что от него кружилась голова, а расслабленное тело само собой проваливалось в какую-то приятную и ласковую глубину.

Его взяли на следующий день. Вероятно Петра выдали злополучные армейские ботинки на ногах,—польские крестьяне даже в легкие заморозки ходили босиком. Два жандарма с медными бляхами на груди и в касках наткнулись на Петра у калитки.

— Муй сын,— спокойно объяснил крестьянин и, неторопливо развязывая кисет, добавил по-немецки:

— Mein Sohn.

Но Петра все-таки взяли. Последним воспоминанием о свободе так и остался тот молчаливый крестьянин в узких штанах, с бесстрастным и сумрачным лицом, смотревший со своего двора вслед жандармам.

И снова Петр боялся, как бы не сбиться со счета и не отчаяться. В Германии, куда его снова привезли, на допросе у молоденького офицера он прежде всего пересчитал пуговицы на немецком френче, перебрал все карандаши в стакане и принялся за решетки на окнах.

Снизу, из комнаты, за окном виднелся только мощеный тротуар, да изредка ненадолго показывались ноги прохожих. Офицер косился на окно и старательно произносил длинные, обтекаемые фразы. Слова вытягивались нескончаемой лентой, громоздились друг на друга, и связь между ними постигалась не сразу. Из всей длинной речи Петр понял только то, что сам он агитатор и красный («rot»), что его ждет плохая судьба («Schicksal»), и что теперь Петра накажут со всей строгостью, предусмотренной директивой фюрера «Мрак и туман» («Nacht unb Nebel erlaß»).

Офицер отвернулся от окна, вздохнул, зачем-то обтер платком руки и, пододвинув лист бумаги с отпечатанным на нем немецким текстом, приказал расписаться.

Дня на три его оставили в покое. Петр наслаждался отдыхом, тишиной, довольно сносным питанием, а где-то в сознании гнездилась безотчетная тревога и смутное предчувствие беды: когда тебя дергают, терзают, значит, ты им нужен, они чего-то добиваются от тебя и оставляют шансы на жизнь: если же к тебе потеряли интерес, ты лишний, от тебя, как от балласта,

лучше всего поскорей избавиться, чтобы не переводить даром пищу. Нет, неспроста они все это затеяли. И отдых, и тишина, и какой-то таинственный приказ фюрера... Такое гадкое ощущение, будто тебя раздели донага и, забавы ради, разглядывают, точно прикидывают, раздавить тебя, как беспомощную козявку, или...

Тело Петра упивалось покоем, а разум лихорадочно отыскивал спасительные лазейки. Но их не было.

В погожий летний полдень за ним пришли. Петр вглядывался в лица солдат, стараясь постичь, какая ему уготована участь, но откормленные физиономии немцев оставались безучастными.

За воротами солдаты остановили Петра и молча подтолкнули к машине. Напоследок он обернулся, точно хотел запомнить темные маслянистые капли под машиной, опрятную асфальтированную дорогу, острые шпили каких-то строений вдалеке. Сейчас же за ним захлопнули дверь. Жестко щелкнул замок, колеса плавно тронулись с места, а он еще долго втискивался среди чьих-то коленей и локтей.

— Кто здесь? — осведомился он.

— Свои,— с насмешкой и горечью ответил ему сосед справа,— братья-славяне...

Откуда-то снизу повеяло легким ветром; Петр осторожно опустил руку и украдкой ощупал металлическую обшивку пола.

— Надежно, дружок,— снова проговорили у него над ухом,— тут уж проверено. Техника, черт бы ее драл. Может, сподручней на месте будет, или при выгрузке. Жди моменту...

На ухабе Петр качнулся, уткнулся плечом во что-то мягкое, теплое и неожиданно услышал женский голос:

— Ох, простите...

Голос был ласковый, чистый, и у Петра вдруг сладко заныло сердце, на него повеяло чем-то домашним, материнским, каким-то давним запахом безмятежного детства. Ненадолго перед ним возникло лицо жены, он припомнил, как первые дни после свадьбы стыдливо, тайком от нее стирал свои грязные носки и как однажды Люба отняла их и шутливо отшлепала его по спине, припомнил и до боли прикусил губу. Привыкнув к полутьме кузова, он различил смутное очертание девичьего лица, блеск пуговиц на платье, светлые кисти рук.

Подскакивая на тряских ухабах, он наклонился к соседке и негромко спросил:

— Сама-то откуда?

Она слегка отстранилась от него и неохотно призналась:

— Смоленские мы...

— За что взяли-то? — снова не выдержал Петр.

— Да так... Всего понемножку,— протяжно рассказывала соседка.— Дома в лесу пряталась, от облавы скрывалась, а здесь пленных подкармливала... с немецкой кухни...

Они помолчали. Стало слышно, как шуршат по асфальту шины и как впереди о чем-то невнятно бормочут люди.

— Страшно, наверно?

— Ох, боязно чегой-то! — отозвалась она.— Неужто погубят, а?..

— Ну, не обязательно. И вообще...

— И чего это с нами будет? Куда это нас, а? — послышался тревожный голос со стороны кабины.

Люди примолкли. Машина, замедлив ход, круто свернула в сторону, долго и тяжело тащилась по каким-то рытвинам и, наконец, остановилась. В открытую дверь хлынул яркий свет.

— Aussteigen![1] — послышалась команда.

Последней из кузова выбралась девушка. Робея под взглядами мужчин, она неловко нащупывала ногой скобы и стыдливо одергивала платье. Круглолицая, с нездоровым отеком на ногах — кому понадобилась ее нехитрая жизнь?

Уже знакомый Петру офицер в черной, похожей на лыжный костюм, форме, с автоматом за спиной, отвел девушку в сторону, вернулся и, указав пленникам на лопаты, приказал:

— Ко-пать!

Он вынул из кармана платочек и тщательно вытер ладони.

Молоденький паренек поднял лопату с земли и деловито спросил у офицера:

— Wieviel? [2]

---

[1] Выходить!

[2] Сколько?

— Ein Meter! [1] — немец повернулся к парню спиной и неторопливо отошел к солдатам.

Грунт был рыхлый, податливый. Лопата легко вонзалась в него по самые закраины, и тотчас же бурые груды земли отваливались от стального лезвия, разламывались и крошились. Вскоре рыть осталось немного, на один штык, не больше, но никто не торопился. Каждый исподтишка поглядывал на соседа и орудовал лопатой только для видимости.

Петр пригляделся к людям. Вероятно, все они были неплохими солдатами, носили чистые подворотнички, лихо пели, регулярно отсылали домой сложенные треугольничками письма; когда-то они были единой, грозной, страшной для врага силой, а теперь: впалые щеки, жеваные гимнастерки без ремней или грязные нижние рубахи, стоптанные полуботинки, шлепанцы, рваные сапоги...

Земляки, товарищи, друзья... Кто разделит с ним последнюю горсть земли или, если повезет, станет братом в дороге? Кто предаст? Сколько людей он встречал на своем пути, сколько раз вслепую брел к незнакомым сердцам...

Молоденький шустрый паренек поджал ногу, зачем-то оттопырил большой палец, продел его в дыру на носке и уныло произнес:

— Эх, покурить бы!

Он опустил ногу, обернулся к бородатому и спросил высоким женственным голосом:

— Интересно, для кого копаем?

— Себе, дурень...

— Ну, ты брось, дядя,— обиделся парень.— Что я им такого сделал?

Мужчина промолчал. На его неподвижном лице лишь на секунду вспыхнули безучастные глаза и тут же погасли.

Минут пять слышалось только учащенное дыхание усталых людей да шарканье лопат о землю.

— Как же так, братцы? За что? — снова не вытерпел парень.

— Ну, хватит! — резко оборвал его Петр.— Хватит ныть!

---

[1] Один метр!

Жесткий, уверенный окрик подействовал. Видимо, угадав в Петре командира, почуяв человека твердой руки, люди потянулись к нему с надеждой и ожиданием. Один заботливо отряхнул на нем измазанные глиной галифе, другой протянул щепоть махорки.

Петр долго сворачивал цигарку. Выдержав взгляд бородатого мужчины, он кашлянул и уже мягче добавил:

— Незачем ныть. Не поможет.

Он жадно затянулся дымом, передал окурок парню и скороговоркой произнес:

— Кажется, пора... Иначе поздно будет,— и жестче, тоном команды, предупредил: — Вместе нужно, разом. Врассыпную, кто куда...

— Перебьют. Перебьют, как...

— Все одно пропадать,— остановил парня бородатый.— Гуртом надо. Эх, хоть бы одно ружьишко раздобыть!

Конвойные беспечно стояли поодаль, смеялись, шутливо подталкивали друг друга, не обращая внимания на пленников. Офицер в черном лениво сбивал плетью стебли травы.

— Ну, попадись они мне,— зло сказал бородатый,— я бы по обойме, по обойме на каждого!

— А лес-то — рукой подать,— напомнил Петр.

— Вырвемся — перво-наперво одежу сыскать,— деловито заметил бородатый.— А там — поминай как звали!

Издали донесся суровый окрик конвойного, и все покорно взялись за лопаты.

Петр медленно, очень медленно вонзал лопату в землю. Ему казалось, будто все это однажды было с ним, будто не то в детстве, не то на какой-то старой картине он уже видел вот такой розоватый налет на местности. Только небо над ними оставалось обычным, августовским, цвета линялого ситца, а все остальное — сухое, пустынное поле, литую ограду кладбища в сотне шагов, дымчатую синеву леса поодаль и даже тощие, нескладные людские тени покрывал едва уловимый нежный румянец.

Вдруг его пронзила горячечная мысль: а ведь все, что делается с ним сегодня,— не кино, не книга, не

дурной сон, все происходит всерьез, именно с ним, и пробуждения не будет!

Тотчас же его захлестнул смешанный поток возмущения, жалости к себе и ненависти. За что? И так бесславно? Нет! Одного, хотя бы одного фрица прихватить с собой — больше ему ничего не надо!

Петр поднял голову, а девушка, заметив его взгляд, улыбнулась и подошла поближе.

Внезапно, повинуясь безотчетному порыву, Петр шагнул ей навстречу и слишком громко, торопливо заговорил:

— Слушай, останешься — расскажи дома. Запомни: Майкоп, улица Ленина...

Этого делать не следовало. Сейчас же остальные побросали лопаты, сгрудились возле откоса, выкрикивая адреса, фамилии, прощальные приветы.

Офицер в черном мундире ринулся ко рву, придерживая ремень автомата и на бегу выкрикивая какие-то ругательства.

Другие конвоиры только прекратили возню и, не снимая с плеч оружия, с любопытством наблюдали за всем издали, а офицер заставил пленных выбраться из ямы и выстроил у края в одну шеренгу. Петр очутился правофланговым в ряду и только тогда обнаружил в своих руках ненужную больше лопату, новенькую, немецкую с еще не отполированным черенком и крепким прямоугольным жалом.

Кто-то тяжело вздохнул, от кого-то потянуло кисловатым запахом давно не стиранного белья, ломкий голос молодого парня в штиблетах пожаловался:

— Курнуть бы разочек...

А немец уже подводил к ним девушку. Он мял губами сигарету, точно жевал ее, автомат все еще болтался у него за спиной.

— И я с вами,— негромко сказала девушка и на ровном месте споткнулась.— Не слушаются ноги-то...

Она стала рядом с Петром, он увидел ее ситцевое платье, ямочки на припухлых щеках, неподшитый край белого платка на шее.

«И это все? Так просто и буднично?» — пронеслось в голове у Петра. Умирать не хотелось. Ох, как не хотелось зарываться носом в свежевырытую глину, валиться в яму бесчувственным пластом, навеки расста-

ваться с ласковыми вечерними сумерками! Как всегда перед чем-то неотвратимым,— его ждешь, о нем догадываешься, и все-таки надеешься на чудо, предпочитаешь не верить. Примириться со смертью нельзя.

То, что произошло потом, промелькнуло почти мгновенно, на какой-то бешеной скорости. Искоса Петр увидел вороненый ствол автомата, нацеленный в спину девушке, холеный ноготь пальца на спусковом крючке и вздрогнул от выстрела; он ждал его, и все же в первую секунду оторопел.

А она стояла. Ее колени подогнулись, как перед прыжком в воду, рот судорожно раскрылся, жадно захватывая воздух, левое плечо выдалось вперед, но она не падала. Тонкое жало автомата снова уткнулось в ее спину, дернулось. На боку, под локтем, у нее проступило темное пятно.

Третьего выстрела Петр уже не слышал. Не размышляя, не думая, целиком отдаваясь пьянящему чувству мести, он изо всех сил размахнулся лопатой, и прежде чем офицер успел повернуться к нему, тяжело опустил ему на голову прочную полосу стали. Срываясь с места, он успел заметить, как тупо мотнул головой немец, как сломалось пополам его тело, а пальцы выронили оружие. Чьи-то руки на лету подхватили автомат, кто-то упал на землю ничком.

— Жми, братва! — ликовал бородатый.— Я тут посчитаю их маленько!

«Ох, умница!» — уже на бегу успел подумать Петр.

— Прав-ва держи! — густым басом протрубили у него за спиной, и Петр послушно бросился вправо.

Сейчас же он услышал левее себя звучные шлепки еще чьих-то ног, и еще, дальние, быстрые,—и несказанно обрадовался.

Где-то позади него стреляли, раза два у его ног взвивались крохотные облачка пыли, а он все бежал, проворно перебирая ногами. У кладбища неведомые силы приподняли его, легко, как птицу, перебросили поверх чугунной ограды. Уже за ней он услыхал глухой шум падения тела, хлюпающий гортанный вздох, но обернуться и посмотреть не успел. Впереди на березовом кресте со звоном закачалась от пули солдатская каска, Петр шарахнулся от нее, упал, утер рукавом

пот со лба, быстро вскочил и, прячась среди надгробий, помчался дальше.

Бежать становилось труднее. Выбиваясь из сил, он неуклюже перевалился через ограду и понесся к спасительному лесу. Возле самой опушки Петр остановился, чтобы унять бешеный стук сердца, сдернул со лба выцветшую пилотку и обернулся. Обливаясь потом, он пристально всматривался, поджидая беглецов, но увидел только вздыбленные могильные камни.

«Один,— огорченно подумал он.— Ну ничего, может, встретимся».

Теперь ноги вязли в прошлогодней листве, цеплялись за узловатые корневища, ветки больно хлестали по лицу. Выстрелы утихли, и после них ему повсюду чудились какие-то вкрадчивые шорохи, затаенные звуки. Петр останавливался, но вокруг него была настороженная тишина, и только розовые лужицы солнца спокойно дремали на пустынных полянах. Иногда он падал, секундами отдыхал, экономил силы, чтобы потом, превозмогая непослушное тело, снова подняться, а один раз громко кашлянул, и после долго не мог заставить себя двинуться дальше.

На одной из прогалин ноги внезапно погрузились в воду, Петр остановился, торопливо разгреб листву и жадно припал к воде.

Оттолкнувшись от земли руками, он с трудом разогнул колени, выпрямился и долго брел по дну ручья на случай, если по его следам пустят собак.

Ручей привел его к серому домику с распахнутыми окнами. Затаясь среди колючих кустов крыжовника, Петр внимательно следил за жильем, но ничего подозрительного не заметил. И все-таки он дождался сумерек, а затем уже прокрался вдоль хозяйственных построек, заглянул в окно и, сунув правую руку в карман, будто нащупывая оружие, резко рванул входную дверь на себя.

— Айн момент [1],— негромко сказал он пожилой женщине с высоко взбитыми седыми буклями, быстро осмотрелся.

Женщина испуганно отпрянула от него.

Петр шевельнул оттопыренным пальцем в кармане, враждебно потребовал:

---

[1] Один момент.

— Анцуг, ферштеен?[1] — Гебен, давать мне! Клайдунг, лос![2]

Женщина в ужасе попятилась от него, распахнула шкаф и принялась поспешно выбрасывать на пол платья, кофточки, какие-то передники и кружевные вставки.

Свободной рукой Петр выбрал из груды белья узкие брюки, старомодный пиджак, рубашку, сунул их под мышку, мимоходом взял со стола аппетитно пахнущую начатую буханку хлеба и попятился к дверям.

— Данке, муттер![3]

Что-то похожее на изумление промелькнуло в ее расширенных от ужаса глазах.

Дойдя до леса, Петр вдруг забыл, в какую сторону следовало идти. Несколько секунд он никак не мог унять противную дрожь в ногах, не мог справиться с запоздалым приступом страха.

Резкий крик птицы заставил его опомниться. Он прислонился к дереву, прислушался. Легкий ветер перебегал по траве, и верхушки лиственниц, далекие, недоступные, враждебно и глухо шумели над головой. Вокруг него все гуще смыкалась тьма, но теперь Петр верил, что где-то впереди непременно откроются спасительные проблески, настанет рассвет, что уж теперь-то он навечно освободился из цепких, жестоких лап мрака.

Он устало побрел дальше. Фиолетовая мгла скоро поглотила его.

---

[1] Костюм, понимать?
[2] Одежда, быстрей!
[3] Спасибо, мать!

Марс — звезда вечерняя

1

В решающую минуту Игнат с удивлением обнаружил, что у него трясутся руки, а ладони становятся липкими от пота. Он пытался унять волнение, пробовал совладать со своей, недостойной мужчины слабостью, но пальцы по-прежнему противно дрожали, спички раз за разом ломались или сухо чиркали по коробку. Наконец одна из спичек загорелась. Игнат подержал ее, дал пламени окрепнуть, помедлил немного, а затем решительно поджег оба шнура. Когда кончики шнуров начали тлеть, он не спеша загасил спичку и размеренно — делая свое дело, запальщик никогда не торопится — зашагал к дежурке.

Фомич все еще сидел за столом, подперев голову руками. Услышав шаги, он не пошевелился, не обернулся на звуки. Страдальчески морщась и упорно не глядя на Игната, начальник шахты полез в карман пиджака. Кисть его руки неожиданно заклинилась там, запуталась в складках, Фомич в сердцах выдернул ее, раздирая нитки по шву, и молча протянул запальщику портсигар.

Игнат взял папиросу, слегка примял ее, но тонкая бумага лопнула под его корявыми, как деревянные чурки пальцами, табак просыпался на пол. А запальщик уже забыл о папиросе. Открыв рот, он с томительным напряжением ожидал взрыва. И все казалось ему, что он оплошал, что шнуры давно погасли, и ему надо вер-

нуться, чтобы поджечь их снова. И тревожился, недоумевая: да что же это они с начальником делают? Неужто нельзя ничего другого придумать?

Грохнуло и полыхнуло так, что из окон посыпались стекла. Тугой ветер ударил в лицо, у Игната заложило уши, от нестерпимого света заболели глаза.

После ему рассказывали, что зрелище было внушительное: двуногий копер, расшитый черным кружевом раскосов, вдруг исчез, проглоченный всплеском голубоватого пламени. Огромный огненный ком мгновенно раздулся и лопнул, как детский шар, начисто слизав и вышку, и капитальное здание под ней. Горько и страшно, будто скончался кто-то близкий, словно внутри у тебя что-то оборвалось,— уверяли соседи.

Но Игнат ничего этого не видел. Лишь через минуту у него продуло уши, и он услышал протяжный гул оседающей на землю лавины, тяжкие удары каменных глыб и металлических балок о грунт. Вскоре ливень схлынул, густая чадная мгла за окном начала рассасываться, и вслед за Фомичем Игнат поспешно выскочил из дежурки.

Развалины дымились. На месте шахтного подъема теперь громоздилась гора хлама: выщербленная, словно изъеденная крысами, бетонная плита, косяк уцелевшей стены, торчащие прутья арматуры, похожие на рычаги диковинной машины. Самый длинный из них, изогнутый, как лебединая шея, еще покачивался.

— Какую красавицу мы с тобой загубили,— тоскливо проговорил Фомич.— Какую махину угробили...

Его лицо осунулось, посерело, глаза стали большими и скорбными.

— Ничего, отольются им наши слезы,— добавил он с угрозой и повернулся к запальщику:

— Ну, Игнат... Спасибо тебе. Не вешай нос, милый. Мы с тобой еще поработаем, еще, может, послужим. А взрывчатку береги. Никому ни слова, понял? Э, да что тебе объяснять! Сам знаешь, не маленький. А пока — прощай.

Фомич покосился на взорванное сооружение, раздувая ноздри, жадно хлебнул горьковатый воздух и, опустив голову, заторопился к пролетке.

Непривычное молчание вентилятора на шахтном дворе оглушало, мертвые проемы окон котельной и без-

молвная кузня глядели на Игната с укором, будили в нем холодную, немую тоску. И чудилось, будто на сотни верст кругом остался в живых только он, Игнат, будто он один тут полноправный владыка смерти и запустения.

Он опустился на корточки, приткнулся к стене дежурки и затих.

Уже в кромешной тьме он покинул шахту. Не зажигая огня, он лежал у себя дома, на койке, одетый, вслушивался в неясный гомон соседок на улице и долго не смыкал глаз.

Наутро на душе у Игната было все так же нехорошо и нескладно. Завтрак не лез в горло, дома не сиделось, и он, повозившись с неисправным дверным замком, вдруг отшвырнул напильник, обтер о тряпку руки и отправился на кладбище.

Прошлогодняя краска на деревянной ограде облупилась, могильный холмик осел и густо зарос травой. Игнат сидел на скамье, шарил руками по сухой, теплой земле, выдергивал сорняки и неторопливо, с отрешенностью пьяного, размышлял. Здесь было тихо и покойно, сюда не доходила война с ее волнениями и тревожным ожиданием близкой беды. Там, под легким покатым холмиком, жене было удобно лежать, ни о чем не заботясь и ничего не принимая близко к сердцу. Отдыхает она там на промытом ливнями песке, позабыв о собственных детях. Впрочем, оно и волноваться не из-за чего: дети далеко, они успели выбраться. Как-нибудь устроятся на новом месте, уже взрослые. А вот он... Оставили Игната здесь для дела, поручили взорвать шахту, да и забыли о нем. Дескать, старик, куда его денешь... Не надо было так легко отпускать Фомича, следовало попросить начальника шахты по старой дружбе пристроить Игната, приспособить к делу,— а Фомич не зря остался! — но теперь уже поздно. Жди, когда начальник сам вспомнит тебя. Да и вспомнит ли?

К обеду Игнат вернулся домой. Хозяйственные хлопоты скоро утомили его. Его руки истосковались по настоящей мужской работе. Среди всевозможных кастрюль и мисок он скоро переставал чувствовать себя серьезным человеком и удивлялся, как это у жены хватало терпения заниматься подобными пустяками всю жизнь.

Так и не доварив борщ, он потушил примус, вышел за калитку и сел на лавочке. Мимо проходили знакомые, здоровались с ним, Игнат степенно кивал головой, отвечал на вопросы, кому-то поддакивал, а минуту спустя уже начисто забывал, о чем шла речь.

Прибегал Петька, соседский мальчишка лет четырнадцати, говорун и голубятник, и торопливо докладывал Игнату о том, что Левицкие заколотили хату и смотали удочки; о том, что вернулись Степакины,— не успели пробиться и сказывают, что немец окружил и прет отовсюду; о том, что Аньку Белохвостову отдают замуж за военного.

— Тоже, нашли время,— рассуждал Петька, локтями подтягивал штаны повыше и как бы мимоходом спрашивал:

— Может, погоняем, дядь Игнат? Засиделись они, еще летать разучатся...

Запальщик не отзывался.

— Тогда я пошел,— уныло говорил мальчишка и, высоко вскидывая руки, уходил. Походка у него была шаткая, развинченная, будто его суставы чересчур щедро смазали.

Вечером по шоссе уходили на восток красноармейцы. Сгибаясь под тяжестью вещевых мешков и винтовок, бойцы шли понуро, разорванным строем, без песен, распаренные от жары в своих толстых шинелях.

На закате где-то за городом бомбили, вдали прострекотал пулемет, и снова тишина. Вторые сутки не слышно пыхтения паровозов, умолкли заводские гудки, утих шум и шелест ссыпаемой под откос породы. Уже стемнело, а по склону террикона больше не вздымается ровная цепочка огней, похожая на лестницу в небо, горизонт глух и черен. Даже не верилось, что так легко удалось потушить этот переливчатый простор, похожий на опрокинутое звездное небо.

Ветер гнал по дороге бездомную листву, остервенело набрасывался на деревья. Порой он накидывался на Игната, осыпал пылью лицо, обессиленный, смирялся у самых ног, и запальщику становились слышны сдавленные голоса соседок. Беспокойные, гонимые тревогой, они снова собрались на улице.

Заслышав шаги, бабы в испуге примолкли, но ско-

ре узнали Игната, сдержанно поздоровались и мало-помалу вернулись к прежнему разговору. Перебивая и дополняя друг друга, соседки кружили на одном месте, как заколдованные, снова и снова возвращаясь к непонятному ходу странной войны. А позади них, за шахтой, над щетинистой кромкой лесополосы висела необычно большая, багрово-красная звезда, быть может та самая воинственная планета Марс, о которой писали в книжках. Временами подмигивая, она будто радовалась, что настала ее пора, будто и впрямь сулила жестокое кровопускание. Исполинский огненный глаз словно подсматривал за людьми, и под его взглядом становилось непонятно, о чем тревожатся соседки, зачем остался на обреченной земле Игнат, если все кончено.

И уже после, ворочаясь на постели, запальщик утешал себя: «Ничего, я двужильный. Все вытерплю. Хуже смерти ничего не будет. Да и за хатой нужен надзор. Не пропадать же добру! Дети вернутся — спасибо скажут...»

2

Утром по калитке отчаянно забарабанили кулаками.

Игнат вскочил, натянул брюки и, как был, босой, в одной майке вышел на крыльцо, поеживаясь от осенней прохлады.

— Дядь Игнат, немцы! — еще с улицы закричал Петька.

Запальщик отворил калитку, положил тяжелую руку мальчишке на плечо, привлек его к себе и только потом взглянул на дорогу. Там, в полукилометре от поселка, по шоссе двигалась серо-зеленая колонна. Оттуда доносился рокот машин, грохот и лязганье гусениц. Войска проходили мимо, как бы не замечая поселка. И в том, что они могли нагрянуть в гости, могли обстрелять селение, а то и сровнять с землей, но все-таки огибали поселок стороной, будто его не существовало вовсе, чувствовалось сознание силы и превосходства.

— Во! сколько их,— невесело проговорил подросток.— Лезут и лезут. Как же теперь, дядь Игнат?

— Ничего, милый. Ничего,— отозвался запальщик, тесней прижимая мальчонку к себе.— Ничего...

Удивительно долог был этот последний погожий день. Шло время, матери успели накормить свои семьи обедом и уже скликали детвору ужинать, а солнце попрежнему недвижно висело в небе, а по шоссе все тянулась нескончаемая колонна чужих солдат.

А затем зарядили дожди. Земля потемнела, раскисла, густые низкие тучи с утра до вечера утюжили поселок, а по мостовой все шли и шли обозы, шли день и другой, и третий.

Игнат больше не выходил из дому. Он не топил печь, не зажигал шахтерскую лампу по вечерам, не заводил часы. Да и зачем их заводить? Спешить уже некуда.

Иногда к Игнату забегал Петька, мокрый, озябший, прислонялся к дверному косяку и выкладывал очередную новость. Выяснялось, что в поселке уже имеется полиция, нашлись и собственные полицейские, что комиссарам и евреям приказано явиться в городскую управу и что гражданским лицам запретили покидать свои квартиры с наступлением темноты.

— Нарушителям — смертная казнь,— уныло говорил Петька, привычным движением локтей подсовывая брюки повыше.

— Мамка хочет голубей извести,—добавлял он после паузы и шмыгал носом.— Говорит, самим жрать нечего. Люди, мол, с голоду пухнут, а у тебя нахлебники.

Ни слова не говоря, Игнат выходил в чулан и приносил оттуда кулек с крупой или мешочек с зерном. Обрадованный мальчонка засовывал кулек за пазуху и убегал, а Игнат снова оставался один.

Но однажды к нему в дом ввалились мужики с винтовками, в добротных, пахнущих юфтью сапогах, с желтыми нарукавными повязками на шинелях.

— Собирайся! — хмуро буркнул мужчина постарше, стрельнув взглядом по комнате.

Запальщик удивленно смотрел на его толстые, выпяченные колбасой губы, ожидая пояснений.

— Я кому сказал!? Живо! — рассердился полицейский,— пойдешь с нами,— и с наслаждением цыкнул слюной, метко угодив плевком в дальний угол.

Игната вывели на улицу и пешком погнали в город.

Дождь перестал, а небо хмурилось, на обочинах дрожали рябые от ветра лужи, немецкие автомашины и мотоциклы обдавали ноги жидкой грязью. За шатким бревенчатым мостом через реку на окраине города лепились друг к дружке саманные хаты и мазанки, изредка попадались приземистые, сложенные из плоского карьерного камня домики, дальше пошли кирпичные особняки с верандами, большие многоэтажные здания.

Игнат старался не смотреть на прохожих. Не очень-то приятно сознавать, что тебя, как последнего бандита, гонят под конвоем. Его удивило, что народу на улице порядочно,— шарканье подошв и стук каблуков сливаются в сплошной гул, словно по тротуару гонят на убой стадо скота. Девчата, старики, подростки... И немцы, много солдат...

Игната завели в здание, где раньше находилась гостиница, сдали под расписку дюжему солдату. Бормоча непонятные слова, толстяк заставил Игната спуститься в подвал, втолкнул в тесную сырую каморку и запер дверь на ключ.

Тут пахло ржавой селедкой и лавровым листом,— видимо еще недавно здесь размещалась кладовая ресторана. А он так и не побывал в ресторане. Проходить мимо — проходил, слышал музыку, видел залитые светом столики, принаряженных посетителей, а вот зайти ни разу не решился. «Зато теперь привалило счастье»,— невесело подумал он, оглядывая голые стены, узкое зарешеченное окошко у потолка, ворох соломы на мокром полу. Он вспомнил, что забыл покормить голубей, и настроение у него окончательно испортилось.

Лишь на следующий день его вызвали на допрос. Немец в серо-зеленом кителе, с витыми вензелями на серебристых погонах, поднялся из кресла, присел на краешек заваленного бумагами стола и, не спуская глаз с Игната, о чем-то заговорил.

«Для кого это он чешет? — недоумевал запальщик, переминаясь с ноги на ногу у двери.— Я-то ни бельмеса не смыслю».

Наконец подала голос переводчица. И сразу вина Игната прояснилась. Оказывается, новым властям стало известно, что он взрывал шахту, а значит, действовал во вред германской армии. По законам военного времени Игнат должен быть повешен за саботаж, за

умышленное повреждение казенного имущества. Понимает ли он, что сделал?

Игнат молча теребил шапку, выжидательно посматривая на немца. Он так и не сообразил, чего хотели от него эти двое. Если он, Игнат, по-ихнему, виноватый, так чего рассусоливать? Раз он проштрафился — ваша воля.

— Отпираться бессмысленно,— продолжала переводчица.— Немецкому командованию все известно. Ведь взрывал?

— Это моя работа,— негромко заговорил Игнат. Каждое слово он выговаривал трудно, с усилием, будто ворочал тяжелые камни.

Чистосердечное признание запальщика немцу понравилось. Господин офицер верил Игнату, господин офицер больше не считал его пособником большевиков. Господин офицер даже сочувствовал запальщику,— он знал, что комиссары заставили Игната взрывать, вынудили разрушить шахту. Большевики рассчитывали отнять у честных тружеников работу, лишить их верного куска хлеба. Но пусть Игнат не волнуется: комиссары никогда не вернутся, а предприятия скоро будут восстановлены. Как он уже мог убедиться, германское командование не карает безвинных. Новая власть умеет не только наказывать, но и прощать. Разумеется, лишь в том случае, если население остается лояльным. Нужны взаимные уступки, и тогда легче будет навести порядок. Вот и он, Игнат, отныне может не тревожиться за содеянное — господин офицер его отпускает. Господин офицер просит извинить его за вынужденную задержку, за некорректное обращение невежд-полицейских.

Офицер примолк. Наверно, у него затекла или еще не разработалась после ранения рука, потому что он изредка вытягивал ее перед собой, сжимал в кулак и шевелил тонкими пальцами. Они напомнили Игнату пальцы учительницы, что год назад играла в клубе на рояле. Только у немца они еще тоньше, еще длиннее и, сложенные щепоткой, сильно смахивают на скрюченные когти хищной птицы.

Передохнув, офицер заговорил снова. На прощанье он просил Игната соблюсти маленькую формальность. Чтобы расстаться по-доброму, запальщику надо было вспомнить фамилии тех, кто приказывал ему взрывать,

кто командовал разрушением шахты. Всех их ему придется назвать по именам, указать, где они жили и где скрываются. Немецким властям все известно, так что речь идет о лишнем свидетельском показании, не больше.

Опустив голову, Игнат молча теребил старенький треух.

— Ну? Так как же? Выбирай: ты или твои комиссары?

— Я...— начал запальщик и осекся.

— Ну, ну, смелее. Чьи приказы ты выполнял?

У Игната затекли ноги, во рту у него пересохло. Он с тоской взглянул на пустой графин, сглотнул слюну и с трудом произнес долгую, очень долгую для него фразу.

— Я... последние дни... много работы,— медленно и неохотно срывались с горы громадные камни.— Сутками в шахте... Устал. Не помню...

Женщина перевела его слова, офицер оживился, сполз со стола и с угрозой в голосе зачастил снова.

— Вот как? — с опозданием доходили до Игната слова немца.— Забыл, значит? Тогда мы тебе поможем вспомнить!

Вошли солдаты, быстрым и точным приемом заломили руки запальщика назад, повалили на скамью. Били чем-то твердым и тяжелым, с протяжкой, со строгой очередностью: слева — справа, слева и опять справа. После каждого удара на спине вздувались жгучие рубцы; закусив губу, Игнат дергался, расслаблял тело и, закрыв глаза, ожидал следующего.

Очнулся он на полу и ощутил под собой каменный холод цемента. Во рту было вязко и солоно от крови, левый затекший глаз не открывался.

— Ну как, вспомнил? — словно издалека, с большой высоты услышал он голос переводчицы.

Игнат разлепил губы, морщась от боли, облизал их сухим языком, медленно повел головой из стороны в сторону и снова потерял сознание.

Через день его опять повели на допрос и опять били. Держали его теперь в общей камере, раз в день отпускали на его долю миску жиденькой овсянки и тонкую плитку спрессованного и безвкусного хлеба, у которого было неприятное квакающее название — кна-

кеброт. Иногда к нему подходили другие узники, вполголоса заговаривали с ним, но Игнат отмалчивался. Он был не из тех людей, которые легко заводят знакомства. Обычно он отлеживался в своем углу, негромко постанывал, да изредка осторожно поворачивался на другой бок. И частенько перед глазами у него всплывали привычные картины: вот он стоит на крыше, на пронизывающем ветру и, запрокинув голову, наблюдает за крохотными живыми комочками в голубом просторе. У него кружится голова, руки и ноги покрываются гусиной кожей, и кажется ему, что он и сам летит высоко над землей, величаво парит в небесной голубени. Вот председатель шахтного комитета профсоюза белорус Мятлев, по прозвищу «Закрутився», открывает в клубе собрание. Докладчик шпарит с трибуны по бумажке, говорит так сухо и монотонно, что Игната клонит в сон, но ему почему-то приятно, будто погружается он в теплую воду. И яркие пионерские галстуки на демонстрации, и гуляния в парке, и музыка на танцевальной площадке, и праздники авиации — куда все подевалось, когда вернется? Дома у Игната теперь нетоплено, на стенах — изморозь, в будке — осиротевшие без хозяина голуби. Если бы Петька по старой дружбе позаботился о них, а то, неровен час, передохнут...

На допросы Игната больше не вызывали, но и отпускать не торопились. Только на четырнадцатый или пятнадцатый день его вывели наверх, пригласили к офицеру и даже предложили закурить. Немец привычно взгромоздился на угол стола и заговорил о том, что их знакомство с Игнатом чересчур затянулось. Господин офицер весьма сожалел об этом, господин офицер приносил свои извинения. Он просил, чтобы Игнат не обижался на него и не таил зла — дело ведь не в его, офицера, личной воле или прихоти, а в приказе командования. Конечно, Игнату приходилось у них не сладко, но время залечивает раны. Дома Игнат отдохнет, наберется сил и все забудет. Новая власть дарует ему свободу,— она, эта власть, умеет ценить честных людей И пусть Игнат не противится, если немецкому командованию потребуется его помощь в будущем, если в один прекрасный день Германии понадобятся квалифицированные рабочие руки.

— Можете идти,— разрешила переводчица, а офи-

цер, благосклонно улыбаясь, неожиданно добавил по-русски:

— До свидания, косподин э... косподин Игнат!

В город пришла зима. Мороз леденил руки, хватал за уши. Скоро Игната чувствительно пробрало, но он не гнулся, не ежился, не убыстрял ход. По улице поселка он шагал так же размеренно и твердо, высокий, прямой и еще крепкий в свои шестьдесят четыре года, с пылающими, будто обваренными кипятком щеками.

У себя дома он налег плечом на калитку, она, всхрапнув, отворилась, отодвинув наметенный сугроб. Утопая в снегу, Игнат поспешил к голубятне. Распахнув дверку, он невольно отпрянул: на полу будки валялись грязно-синие, задубевшие на морозе головки. Глаза голубей были закрыты, клювы разинуты.

— Это полицаи, дядь Игнат,— объяснил Петька, пробираясь по глубоким следам к запальщику. Он был без шапки, в накинутом на плечи пальтишке, учащенно дышал и говорил виновато, удрученно.— Я слышал, как они суп хвалили. Хвастались, что слаще куриного.

Игнат медленно притворил дверцу и вдруг, взметнув снег фонтаном, со злобой отшвырнул ногой выпавшую из будки головку.

— Дядь Игнат, возьмите у меня. Пару сизарей, а? Принести?

— Не надо,— хмуро пробурчал запальщик.

Он повернулся к мальчишке и уже ровнее, словно оттаивая, заговорил:

— Ты вот что: приходи завтра. Ступай, а то простынешь. Нетоплено у меня.

Он стоял и смотрел мальчишке вслед, пока тот не скрылся за калиткой.

3

И потянулись однообразные, серые дни. Жизнь для Игната потеряла вкус. Он подолгу спал, просыпался под утро или среди ночи, хлебал постные, подернутые хрупким ледком щи, протапливал печь и снова погружался в беспробудный сон. Иногда к нему приходили соседи, пробовали утешать, успокаивать его, старались вернуть ему прежнее присутствие духа, а он с недоуме-

нием глядел на посетителей — сейчас он меньше всего нуждался в утешениях. Не раздражал его только тщедушный Михалыч, вместе с которым Игнат добрый десяток лет протрубил в забое. Маленький, ветхий, благообразный, с тонкой сеткой морщин на щеках, он смахивал на потемневший от времени лик древней иконы. Легкие у него были пропитаны угольной пылью, и прежде чем заговорить, Михалыч натужно откашливался. Особенно он любил порассуждать о хитроумных причудах злодейки судьбы и для примера всегда ссылался на подходящие к случаю последние события. И тогда Игнат узнавал, что в поселке разместилась воинская часть, что немцы постарше чином поселились на квартирах у местных жителей, что бывшая официантка столовой крутит с ними открыто, напропалую, а десятника по вентиляции, остриженного наголо, приняли за беглого военнопленного и посадили в какой-то особый лагерь. Жизнь, оказывается, не остановилась, не сгинула, она лишь потекла другой дорогой. Вон и Михалыч применился и приспособился: из старого сукна и ваты его жена шьет стеганые валенки-бурки, ноские, если ходить в галошах, и выменивает на них продукты. Да и дочка помогает — насобачилась игральные карты трафаретом печатать и тоже в город, на рынок. Главное, учил Михалыч, надежную струю нащупать, в жилу попасть, и тогда не пропадешь. Оно и ему, Игнату, пора пораскинуть мозгами. Под лежачий камень, как говорится... А выгодная статья завсегда найдется. Поперваx можно и к нему, Михалычу, в долю...

— Как это? — недоумевал Игнат.

— А так: брючонки там какие старые раскопать среди хлама, одеяльце, юбчонку. Распорешь — вот те и матерьял. Шей, не ленись.

Игнат недоверчиво хмурился. Уж очень несерьезным и жиденьким представлялось ему новое занятие. Он, Игнат, не обучен приноравливаться. Да и не с руки здоровому мужику шить — пороть.

Поздним вечером он выпроваживал Михалыча и оставался один на один со своими думами. Постепенно мысли его начинали слабеть и путаться, и он часами просиживал на койке без движения, без проблесков сознания, без сколько-нибудь заметных желаний. По-

рой ему чудились шаги в соседней комнате, он явственно слышал, как хлопочет за стенкой жена, шлепая босыми ногами по полу, как она озабоченно вздыхает, а иногда бормочет свое излюбленное «Раздуй тебя жиром». В такие минуты Игнат отчетливо представлял ее лицо, видел склоненную набок голову с тяжелым узлом волос на затылке, полную шею, плавную, величавую, как у царицы, походку. Игнату хотелось остановить, задержать это видение, он сжимался в комок и, затаив дыхание, прислушивался, но именно в тот момент и рассеивался туман. Он снова был один в четырех стенах, окруженный непроглядной теменью, с глазу на глаз с немым динамиком радио.

А зима набирала силу. С виду веселая, звонкая, пышная, за ночь она вымораживала из дому остатки тепла, по утрам сторожила у дверей, люто набрасываясь на того, кто осмеливался высунуть нос наружу. Его, Игната, счастье, что успел запастись топливом. Да и продукты кое-какие имеются. Другие-то давно мыкаются, ни угля у них, ни крупы, ни мало-мальски приличной одежонки. Многие за сотни верст отправляются на мены, за пропитанием. А некоторых хоть сейчас по миру пускай. Даже воды в колонках, и той не стало. Частенько приходится запрягаться в новомодные, выгнутые из железного прута сани и тащиться с ведрами к пруду. А до весны, до первого тепла ой как далеко!

Как-то раз, в студеный январский день, в окно постучал полицейский. Был он в новом дубленом полушубке, а выглядел озябшим и замученным: пухлые, колбасой, губы посинели и потрескались, нос облупился, под глазами чернели круги. Не заходя в дом, он вяло, без прежней развязности объявил волю своих хозяев. Игнату предписывалось явиться на шахту и приступить к работе.

— Какая может быть работа? — удивился Игнат.

— Не знаю. Такой приказ,— не глядя на него, угрюмо ответил полицейский и поспешил уйти.

Утром Игнат надел теплое белье, ватные брюки, поверх фуфайки натянул холодную, торчащую колом спецовку и отправился на рудник. Там он всю смену провозился на поверхности. Вместе с другими мобилизованными он не спеша, с прохладцей, очищал завалы,

долбил киркой мерзлую землю, таскал носилки, грелся у костра. Их занятие, по мнению Игната, было бестолковым — с такими темпами пока отроешь шахту, так и помереть успеешь. Но, как говорится, начальству виднее...

Работа почти не утомляла его, зато дни побежали быстрей. Не успеешь оглянуться — и уже вечер, уже пора шабашить. День, другой — глядишь, и неделя прошла. Да и паек положен. На зависть соседям получал Игнат свою двухсотграммовую норму прогорклого, «шоколадного», как его называли в насмешку, хлеба, выпеченного из горелой пшеницы, предвкушая отдых, совсем как прежде торопился домой, и собственное жилье становилось не таким постылым и бесприютным. На службе у него тоже выпадали приятные минуты. В полдень соберутся трудяги перекусить, сгрудятся у печки, разложат перед собой скудные харчишки и давай перебирать разные случаи из довоенной жизни. Вспоминают какие-то пустяки, глупости, забавные недоразумения, а на душе делается легче и горячей, будто молодеть начинаешь. А Тимофей Макрушин, крепильщик, тот и вовсе учудил: в обеденный час взял да и ляпнул при полицейском:

— Ну-кась, навались на чаек, товарищи!

И замерли, и разом примолкли работнички, каждому было и неловко, и горько, будто он кого предал.

Вскоре Петька нашел в степи и приволок на шахту листовку. Не утерпел Игнат, хоронясь от начальства, показал ее напарнику, тот — своему дружку, и к вечеру прокламацию зачитали до дыр. И радовались втихомолку: там, под Москвой, наши дрались с немчурой, да еще как дрались!

Не забывал Игната и Михалыч. По субботам он приходил к запальщику, откашливался, дымил ядовитой махрой. Не зажигая огня, долго сидели они, разогревая у печки старые кости.

В трубе гудел ветер, в окно вливался ровный, отраженный снегом свет, на полу, у порога, вспыхивали малиновые отблески пламени.

— Мне пора,— к полуночи спохватывался Михалыч и, кряхтя, поднимался с места.

— Говорят, вчера за посадкой много люду пореши-

ли,— однажды сказал он.— Должно быть, из тех, кто несогласный. А еще будто в шурф живыми бросают, на четвертом «бису́». Все больше евреев. Наши мальчишки подглядели. И не боятся, сморчки!

Он отдышался и добавил:

— Вот они какие, германцы. С ними шутки плохи. Видать, крепко засели... Тут я тебе газетку оставлю — поинтересуйся.

Едва рассвело, Игната потянуло в поле, к лесополосе. Утопая в сугробах, он продирался сквозь ветки, брел от просеки к просеке, заглядывал в самые густые заросли. На опушке он наткнулся на глубокие решетчатые вмятины, оставленные гусеницами вездехода на снегу, проследил за ними и на просторной поляне обнаружил полосу черной, жирной земли. Утоптанная десятками ног тропка, тяжелые, схваченные морозцем комья и чуть в стороне — стеганый валенок-бурок домашнего производства. Значит, правда... Похоже, что и на четвертом «бису» тоже. На том самом на четвертом, затопленном спецами-вредителями еще после революции. Когда-то в забое этой шахты насмерть пришибло его деда, там, под землей, коногонил отец Игната, мальчишкой он и сам днями пропадал на «бису», шнырял по эстакадам, выдирал галчиные гнезда. А теперь...

Присев на корточки, он внимательно осмотрел потертый, с перекошенным задником валенок, тщательно присыпал его снегом, поднялся и сдернул с головы шапку. Череп проняло холодом, ледяное дыхание обожгло уши. А тем, которые лежали здесь, было, наверно, куда холоднее...

Дома он набросился на газету, дважды перечитал ее, но никаких упоминаний о казнях не нашел. Некий господин Попов объявлял на последней странице о том, что он открывает платные курсы немецкого языка,— этот Попов представлялся Игнату холеным барином с острой бородкой, в изъеденной молью жилетке и котелке. В областном городе приглашали работать в офицерское казино русских девушек и женщин, а об одной местной барышне писали, что она каждый вечер «с потрясающим успехом» отплясывает перед немецкими солдатами непонятные Игнату характерные танцы.

Как же так, недоумевал Игнат, вчера одни, сегодня

другие, раньше товарищи, теперь господа? Неужели все так просто и легко делается? И как поступить ему, Игнату? Куда податься? Разве махнуть к своим? Давеча Петька сболтнул, будто наши беглые пленные у Таганрога по дну моря фронт переходят. Вот бы и себе с ними! Только не возьмут его в армию — остарел. Так куда же тогда?

Игнат стал приглядываться к немцам, силился понять, что они за люди, чего хотят, чего добиваются, но кроме чрезмерного служебного усердия да страха перед начальством никаких особых отличий в облике солдат не находил. Их офицер, тощий, чопорный, не разговаривал с подчиненными, а сквозь зубы отдавал приказы. Он и в сильный мороз носил начищенные до блеска сапоги, шинель из тонкого сукна и высокую, со сверкающей бляхой фуражку.

На шахту Игнат начал ходить с неохотой, за смену сильно уставал и нередко норовил увильнуть от работы. В груди у него побаливало, частенько беспокоила сосущая пустота под сердцем. Все назойливей ему приходили на ум утешительные мысли о смерти, все больше раздражала и служба, и замогильно-пустые ночи в доме, и Михалыч.

А тот регулярно являлся в гости, дымил самосадом, засиживался допоздна. И обязательно приберегал напоследок худую весть. То расскажет о женщине, которую повесили за укрывательство пленных, то о найденном в степи окоченевшем трупе ребенка, то про облавы на рынках.

— А ить шахту вскорости думают пускать,— как-то объявил он.— Готовятся уже.

— Как пускать? — забеспокоился Игнат.— Ствол завален, его и за год не прочистишь.

— Так то ж главный. А зачем германцам главный, если они запасной приспособили? Тесен, правда, и узковат, но для почину сойдет. Много ли им угля нужно? Абы для паровозов хватило. Возить снаряжение. И узловая станция близко.

И опять Михалыч оказался прав. Вроде и немало Игнат околачивался на шахте, да без внимания, словно с закрытыми глазами ходил. А сосед сразу учуял. Вентиляционный ствол и впрямь очистили, кое-где укрепи-

ли, приладили канат, бадью, лебедку. Можно начинать добычу.

Весь день Игнат не находил себе места, слонялся по рудничному двору, удивляя своей рассеянностью окружающих. И дома ему не сиделось: то порывался заколотить окна, двери и уйти куда глаза глядят, то тянуло постучаться к людям, поделиться с ними тревогой, посоветоваться. А потом Игната зажала в тиски усталость, сковало тело безволие, тупое равнодушие к жизни, и он около часа просидел в темноте, неподвижный, с померкшим взглядом и бессильно повисшими руками. Лишь поздней ночью Игнат очнулся, наспех поужинал, тщательно снарядился, разыскал запальщицкую сумку, трамбовку для пыжей, старую горняцкую лампу, обушок, зачем-то положил во внутренний карман пиджака семейные фотокарточки и, прижимаясь к темным заборам, благополучно пробрался на шахту.

4

Под утро жителей поселка разбудил взрыв. Обитатели домов высыпали из дверей и калиток, ежились, спросонья продирали глаза, шарили взором по небу и не находили самолетов. Потом они замечали густое черное облако над шахтой, окутанные дымом постройки и, сразу притихнув, с беспокойством следили за грязной ползучей тучей.

К шахте промчались на санях полицейские, за ними вслед потянулись любопытные.

Это была чистая работа: стены запасного ствола осели, новая деревянная башня рухнула, возле спуска под землю наворотило столько мусора, будто здесь хозяйничали танки. Воздух был горький, едкий, догорали доски, пахло взрывчаткой. Полицейские суетились у места происшествия, оттаскивали в сторонку обугленные столбы, пока старший из них, с досадой плюнув сквозь зубы, не скомандовал отбой.

— Чего вылупились? — набросился он на зевак.— Сматывайтесь отсюда!

Он длинно выругался и заорал вдогонку:

— Рано обрадовались! Я знаю, кто тут орудовал!

Этого субчика мы и на краю света найдем. Еще попляшет у нас!

Четверть часа спустя полицейские нагрянули к Игнату. Голый по пояс, он только-только помылся, а воду слить из тазика не успел. Рядом, на полу, валялась пропахшая потом, измазанная ржавчиной спецовка, запорошенная снегом.

Игнат намеревался постоять за себя, но, увидев первого полицая, промедлил. Перед ним оказался мальчишка, сопляк — какой с него, дурака, спрос? И кроме того — до сих пор Игнату ни разу не приходилось убивать живых людей...

А на запальщика уже навалились остальные. Под их ударами Игнат несколько минут держался, широко расставив ноги и вобрав голову в плечи, топтался на месте, отряхивался, расшвыривая локтями самых ретивых, но вскоре толчок неимоверной тяжести — окованный железом приклад с размаху вонзился под ребро — свалил его на пол.

Старшой самолично отводил душу. Он пинал лежачего ногами, яростно матерился, указывал подчиненным куда целить, чтобы не убить до смерти.

Игната отлили водой, подняли на ноги, приказали одеться и, подталкивая в спину, погнали в город. И от поселка до гостиницы из-за ставен и занавесок его провожали горящие людские взгляды.

Двое суток Игната продержали в холодном подвале без воды и без пищи. В первую же ночь он застудил правый бок, к утру охрип и часто захлебывался в кашле.

На третий день его вывели наружу. Он надеялся попасть на допрос, но его вывели во двор и втолкнули в машину.

Шахту Игнат узнал сразу, даром что давно здесь не был: тот самый, четвертый «бис». Постарел, бедняжка, облупился, кладка стен осыпалась, ощерилась зубатыми провалами, крыши нет и в помине. Вверху, над эстакадой гудит ветер, пронзительно скрипит железом, швыряет вниз колючую пыль ржавчины. Весна пробралась и сюда: небо над копром сырое, переменчивое, снег набряк и ослабел, жирными лужами расплывается под ногами. Чувствуется, что вот-вот выглянет солнце, и просядут последние наметы, покажутся глинистые буг-

ры, а там, наверху, над шахтой, закружат нескончаемые хороводы, заведут свой певучий гомон взбалмошные галки.

Арестованных заводили в здание по двое. Сначала отобрали из горстки людей пугливого подростка и женщину в сером платке. Она ни на секунду не закрывала рта, охала, жаловалась, слезно упрашивала солдат и слабо упиралась, а они молча подталкивали ее вперед, тащили за руки. По утоптанной тропе все четверо вошли в здание и пропали из виду.

В который раз облизывая губы, Игнат напряженно прислушивался, ожидая выстрелов, но в громадном пустом корпусе было тихо. Солдаты вернулись оттуда одни, на ходу вскинули карабины за спины и повели следующих: изможденного, с желтым лицом и впалыми щеками парня в солдатской одежде и дряхлого седобородого старца с шестиугольной звездой на повязке.

Игнат нащупал в кармане мятые фотографии, жадно, задерживаясь на каждой неровности, оглядел двор, пробежал взглядом по забору. Над линией досок на мгновение ему померещилась чья-то голова. Хотя бы Петька увидел его напоследок. Рассказал бы в поселке...

А солдаты уже подходили к нему. Не утерпев, Игнат быстро нагнулся, зачерпнул полную пригоршню снега, припал к нему ртом.

В здании было сухо и ветрено, глаза не сразу освоились с полутьмой. К своему последнему прибежищу — громадной квадратной яме, уходящей отвесно вниз на много сотен метров,— Игнат продвигался, пятясь вслепую. Удивляясь собственному спокойствию, он покорно отступал вглубь под напором направленного на него карабина. Конечно, лучше бы знать точно, где она, эта яма, лучше бы видеть ее, но он и так может догадаться, определить точное расстояние. Кажется, здесь, под копром. Еще несколько шагов, и...

На него неумолимо надвигалось жерло карабина, чуть ниже тусклым серебром отливала широкая пряжка солдатского ремня. Уставясь на неясный в сумраке рисунок на пряжке, Игнат все медленней, все неохотней

переставлял ноги, пока черный кружок не ткнулся ему под ребро. И тогда, собрав остатки былого проворства, чуть отклонясь влево, Игнат двумя руками схватился за ремень, намертво стиснул холодную кожу, резко, сколько хватало сил, дернул ее на себя и потерял равновесие. Последним, что запомнилось ему, были чужой душераздирающий вопль, повторенный сводами здания, широкая дорожка ремня под пальцами да клочок сырого, талого неба над уходящей ввысь падающей клеткой шкивов. Там, где любили гнездиться галки, пронзительно пахло весной.

СОДЕРЖАНИЕ

Попутчики 3
Голубая «Волга» 13
Мы и любовь 20
Проводы 27
Таня 35
Несколько дней 42
Юлька 64
Последнее танго 69
Трое в пути 81
Память прошлого 91
Вечерняя почта 100
Сквозь мрак и туман 105
Марс — звезда вечерняя 115

Сапронов Леонид Лаврентьевич

ПОПУТЧИКИ

Рассказы

* * *

Редакторы: **Г. П. Езерская, М. А. Мосолов.**
Художник **В. С. Матвеев.**
Техн. редактор **М. И. Миляева.**
Корректор **Б. М. Дорогонько.**

Сдано в набор 7 июня 1966 г.
Подписано к печати 20 июля 1966 г.
Бумага 84x108/32. Физ. печ. л. 4,25.
Усл. печ. л. 7,14. Уч.-изд. л. 7.
Тираж 30000 экз. Заказ 8062. ЦП08655.
Т. п. 1966 г. № 88.

Приокское книжное издательство —
Тула, ул. Каминского, 33.

Цена в суперобложке 25 коп.

Типография изд-ва газ. «Коммунар».
Тула, пр. Ленина, 36.

25 коп.